This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slau 4350.4.2100

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ.

ПУШКИНЪ

1908.

Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ.

ПУШКИНЪ

1908.

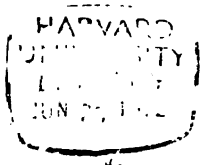
Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ

ПУШКИНЪ

AIKHENVAL'D
= „PUSHKIN"

Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Пименовская ул., соб. д.
МОСКВА — 1908.

Slav 4350.4.2100



70 *2

Изданіе „НАУЧНАГО СЛОВА“.

Обложка работы А. А. УЛЬЯНОВА.

Предлагаемыя страницы извлечены изъ второго изданія книги: „Силуэты русскихъ писателей", выпускъ I.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

I. Общая характеристика 1

II. Отклики Пушкину:

Русланъ и Людмила 25

Кавказскій плѣнникъ 33

Галубъ 38

Цыганы 42

Бахчисарайскій фонтанъ 48

Полтава 55

Мѣдный Всадникъ 64

Скупой рыцарь 71

Моцартъ и Сальери 77

Каменный гость 88

Сцена изъ Фауста 94

Пиръ во время чумы 97

Борисъ Годуновъ 100

Русалка 105

Евгеній Онѣгинъ 107

I.

Общая характеристика.

Нельзя охарактеризовать Пушкина лучше, чѣмъ это сдѣлалъ онъ самъ въ извѣстномъ стихотвореніи «Эхо»:

Реветъ ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,
Трубитъ ли рогъ, гремитъ ли громъ,
Поетъ ли дѣва за холмомъ—
    На всякій звукъ
Свой откликъ въ воздухѣ пустомъ
    Родишь ты вдругъ.
Ты внемлешь грохоту громовъ
И гласу бури и валовъ,
И крику сельскихъ пастуховъ—
    И шлешь отвѣтъ;
Тебѣ жъ нѣтъ отзыва... Таковъ
    И ты, поэтъ!

Онъ, дѣйствительно, эхо міра, послушное и пѣвучее эхо, которое несется изъ края въ край, чтобы страстно откликнуться на все, чтобы не дать безслѣдно замереть ни одному достойному звуку вселенской жизни. Въ этой отзывчивости, въ этомъ дарѣ гармоническихъ отвѣтовъ на всѣ живые голоса, есть нѣчто по преимуществу человѣческое, такъ какъ никто не долженъ ограничиваться опредѣленной сферой впечатлѣній и міръ для всякаго долженъ существовать весь. Но въ одномъ этомъ есть уже и нѣчто по преимуществу поэтическое. Вѣдь поэзія сама не творитъ, а только претворяетъ. Вотъ отчего Пушкинъ многому подражалъ, — даже другимъ поэтамъ, обливался слезами надъ вымысломъ; чужое художественное созданіе уже само становится природой и входитъ въ общую совокупность явленій, такъ что и оно родитъ свой откликъ въ воздухѣ пустомъ. Пушкинъ вообще не высказывалъ

какихъ-нибудь первыхъ, оригинальныхъ и поразительныхъ мыслей; онъ больше отзывался, чѣмъ звалъ. Это именно потому, что онъ былъ истинный поэтъ. Свободный духомъ, царственно-безпечный, онъ не имѣлъ и слѣда той дискурсивности и пытливости, которая нужна для опредѣленныхъ идей. Не промежуточная работа мысли и даже не наитіе внезапныхъ умственныхъ откровеній составляли его силу, а непосредственная интуиція, вдохновенное постиженіе прекрасной сердцевины вещей. И въ его собственной душѣ жило такъ необъятно-много красоты, что она могла находить себѣ утоленіе, созвучіе, внутреннюю риѳму только во всемъ разнообразіи природы и во всей безпредѣльности человѣческаго бытія. Всеотзывная душа его была какъ многострунный инструментъ, и міръ игралъ на этой Эоловой арфѣ, извлекая изъ нея дивныя пѣсни. Великій Панъ поэзіи, онъ чутко слышалъ небо, землю, біеніе сердецъ,—и за это мы теперь слушаемъ его.

Но быть эхо вселенной не есть нѣчто пассивное и механическое: для того чтобы отвѣтить, надо услышать; и въ этомъ послушаніи міру сказывается глубокое міровоззрѣніе. Ибо Пушкинъ воспроизводилъ не то, что разсѣивается во времени и пространствѣ, обреченное забвенію, какъ шумъ печальный волны, плеснувшей въ берегъ дальный: нѣтъ, онъ въ силу художественнаго инстинкта, не задумываясь, отметалъ все случайное и временное, онъ сразу улавливалъ самую основу и красоту дѣйствительности, вѣчное зерно преходящихъ явленій и предметовъ. Онъ пѣлъ для забавы, безъ дальнихъ умысловъ, но въ результатѣ возникало серьезное и глубокое. То, что онъ повторилъ, что на вѣки удержалъ изъ текучей хаотичности жизненнаго гула,—это именно и есть то, что заслуживаетъ безсмертія; какъ разъ это и должно было остаться на свѣтѣ, какъ разъ эти чистые отклики и образуютъ мысль и музыку міра.

Эхо души и дѣяній, внутреннихъ и внѣшнихъ событій, прошлаго и настоящаго, Пушкинъ въ своей отзывчивости какъ бы теряетъ собственное лицо. Но Богъ тоже не имѣетъ лица. Опредѣленныя черты, физіономія присущи только тому, что ограничено,—ихъ не знаетъ мірозданіе, какъ цѣлое. И Пушкинъ растворяется въ звукахъ, воспроизводящихъ все, отвѣчающихъ всему.

Отъ шалости до молитвы, отъ шутки и до гимна—въ этомъ протекаетъ жизнь, и это звучитъ въ поэзіи Пушкина. Она совершила весь человѣческій циклъ и развернула живой свитокъ естественной личности, которая дышитъ всею полнотой и силой жизненныхъ впечатлѣній. Передъ нами не мертвая тишина безстрастія и равнодушія къ жгучимъ приманкамъ земли, не мелкая натура,

спокойная въ своей мелкой безгрѣшности: напротивъ, мы видимъ, какъ бьется и трепещетъ въ соблазнахъ горячая молодость, пѣнится вино на играхъ Вакха и Киприды, «подъ небомъ Африки моей» кипятъ волнующія желанія чувственной природы,—и все это кончается Мадонной, чистѣйшей прелести чистѣйшимъ образцомъ. Муза Пушкина, т.-е. его великая душа, растетъ на нашихъ глазахъ и дѣлается все серьезнѣе, и, наконецъ, достигаетъ религіозной высоты. Муза его сначала какъ вакханочка рѣзвилась на шумныхъ пирахъ и буйныхъ спорахъ, среди изнѣженныхъ звуковъ безумства, лѣни и страстей, а потомъ Ленорой при лунѣ скакала со своимъ поэтомъ по скаламъ Кавказа или, на брегахъ Тавриды, водила его слушать мистическій хоръ валовъ, хвалебный гимнъ отцу міровъ. И гимны важные, внушенные богами, и пѣсни мирныя фригійскихъ пастуховъ, и Апулей, и отцы-пустынники и жены непорочны, языческое и христіанское, всѣ оттѣнки радости и скорби, свѣтъ и тѣни разнообразныхъ чувствъ и помысловъ—все это нашло себѣ полногласный отзвукъ въ его неизсякаемомъ творчествѣ.

Сторукій богатырь духа, Пушкинъ въ своемъ пламенномъ любопытствѣ, полный звуковъ и смятенія, объемлетъ все, всѣхъ видитъ и слышитъ, каждому отвѣчаетъ. Онъ самъ сказалъ, что душа нераздѣлима и вѣчна, и онъ оправдалъ это на себѣ. Не зная границъ и предѣловъ, не зная далекаго и прошлаго, вѣчно настоящій, всюду сущій, всегда современный, онъ въ своей сверхпространственности и сверхвременности переносится изъ страны въ страну, изъ вѣка въ вѣкъ, и нѣтъ для него иноземнаго и чужого. Овидій жилъ и страдалъ давно, но Пушкинъ переживаетъ съ нимъ эти страданія теперь и воскрешаетъ въ себѣ его тоскующій образъ, и черезъ вереницу столѣтій шлетъ ему свой братскій привѣтъ. Та яркая панорама жизни, которая въ чарующемъ разнообразіи и блескѣ развертывается передъ нами въ несравненномъ посланіи къ Юсупову, вся прошла въ душѣ поэта, и еще съ гораздо большей полнотою картинъ и красокъ; и то, чего недоставало Пушкину во внѣшнихъ воспріятіяхъ—онъ не видѣлъ чужихъ краевъ, гдѣ небо блещетъ неизъяснимой синевой, онъ не видѣлъ Бренты и Адріатическихъ волнъ,—все это восполнялъ онъ сказочною силой своего внутренняго зрѣнія и пережилъ въ своемъ сердцѣ всѣ эпохи и страны, всѣ культуры, и Тріанонъ, и революцію, и разсказы Бомарше, и всю превратность человѣческихъ судебъ. Онъ претворилъ Аріосто въ сказку, гдѣ русскій духъ, гдѣ Русью пахнетъ; онъ передумалъ Коранъ, и русскія слова, въ которыя онъ воплотилъ его, зазвучали какою-то восточной мелодіей и восточной философіей, окрасились въ колоритъ мечети и муэдзина; онъ перечувствовалъ Данта

и Шекспира, и Гете, посѣтилъ въ идеальномъ путешествіи своихъ творческихъ сновъ Европу и Востокъ, понялъ Донъ-Жуана и Скупого рыцаря, и другого, бѣднаго рыцаря, который имѣлъ одно видѣнье, непостижное уму,—понялъ и зависить Сальери, и царицу Клеопатру, и вѣщаго Олега, и мудраго Пимена, чей обликъ возсіялъ ему изъ тьмы временъ. Для него были близки и понятны и Анакреонъ, и Пѣсня Пѣсней, и пѣсни Шенье, въ неволѣ славящаго свободу, и Гафизъ, и Горацій, и все, что когда-либо волновало и восхищало людей.

Эта побѣда надъ всѣми ограниченіями, какія полагаетъ человѣку скромная доля отмѣренныхъ людскихъ силъ, опредѣленная вмѣстимость индивидуальной, даже одаренной души, это поэтическое вездѣсущіе не есть, конечно, внѣшняя виртуозность и гибкость писательской техники, и это не только могучія крылья удивительнаго таланта, не слабѣющія въ своемъ дальнемъ полетѣ: это—проявленіе всего единства жизни, которое носилъ въ себѣ Пушкинъ и которое дѣлало законной и исполнимой его смѣлую мольбу—скрыться въ воздушный ковчегъ, туда, въ сосѣдство Бога. Въ самыхъ разнообразныхъ сферахъ, подъ оболочками чуждыхъ народностей и рѣчей, на протяженіи многихъ вѣковъ, всегда и вездѣ, сочувственно и глубоко узнаетъ Пушкинъ единое всечеловѣческое сердце и нераздѣльно пріобщается къ его радости и печали, какъ Махадева, который принимаетъ обликъ человѣка, для того чтобы самому испытать все счастье и все горе людей. Какъ замѣчаетъ Шопенгауэръ, повторяя индусскую мудрость,—эгоистъ всему внѣшнему для своей личности, всему, что не онъ, брезгливо говоритъ: *это не я, это не я*; тотъ же, кто сострадаетъ, во всей природѣ слышитъ тысячекратный призывъ: *это ты, это ты*. Изъ произведеній Пушкина звучитъ намъ именно послѣдній кличъ; благодаря Пушкину, мы и сами дѣлаемся привѣтнымъ эхо всего человѣческаго. Его эстетическій универсализмъ—въ то же время и величайшая этика. Къ центру его духа протянулись живыя нити отъ всего живущаго.

Онъ поведетъ насъ подъ издранные шатры цыганъ и научитъ насъ, что и тамъ живутъ мучительные сны, и тамъ горятъ роковыя страсти; онъ противопоставитъ грандіозной объективности государственнаго дѣла субъективное горе безхитростной души и около памятника Петра Великаго замѣтитъ, едва ли не первый въ русской литературѣ, маленькую фигуру бѣднаго чиновника, котораго счастье и скромный романъ, и самую жизнь задавило тяжело-звонкое скаканье Мѣднаго Всадника, и онъ отнесется къ этому чиновнику какъ старшій и умный братъ, но просто, безъ горькой насмѣшливости Гоголя, подастъ ему одинъ только чистый хлѣбъ состраданія и раздѣлитъ съ

нимъ его тоску въ страшную ночь наводненія, и пожелаетъ вмѣстѣ съ нимъ, чтобы вѣтеръ выдъ не такъ уныло и чтобы дождь въ окно стучалъ не такъ сердито; онъ въ пустынѣ чахлой и скупой увидитъ человѣка, котораго человѣкъ послалъ къ Анчару властнымъ взглядомъ,—но въ неумолимыхъ и потрясающихъ словахъ стихотворенія, посвященнаго отравленному рабу, онъ покажетъ намъ и мрачную трагедію самого Анчара, котораго природа жаждущихъ степей породила въ день гнѣва и который стоитъ теперь въ угрюмомъ одиночествѣ, одинъ во всей вселенной, и плачетъ ядовитыми слезами: никто не приближается къ нему, и ядомъ своимъ онъ прежде всего отравляетъ самого себя. Въ волненіяхъ міровыхъ событій не пройдутъ незамѣтно для Пушкина тѣ, чья личная судьба сочетается съ ходомъ исторіи; отъ него не будетъ скрыта ни участь Маріи, которая изнываетъ въ гаремѣ хана, ни участь Маріи, красы черкасскихъ дочерей, которая свою тихую жизнь разбила о тревогу сѣверной державы,—и нѣжныя страданія сердца вплетаетъ онъ въ суровую ткань исторіи.

Для него нѣтъ въ мірѣ никого и ничего безусловно-презрѣннаго и ничтожнаго, ни одного безразличнаго существа, отъ котораго можно было бы равнодушно отвернуться. Подобно тому какъ онъ замѣчаетъ прозаическія бредни повседневности, фламандской школы пестрый соръ, и поэтизируетъ все, къ чему ни прикасается, такъ и въ людяхъ онъ благодатной прозорливостью ума и сердца всегда находитъ что-нибудь свѣтлое или же сообщаетъ имъ внутренній свѣтъ и тепло своей собственной прекрасной души. Въ «Домикѣ въ Коломнѣ» онъ разсказываетъ про молодую богатую графиню, которая

Входила въ церковь съ шумомъ, величаво;
Молилась гордо (гдѣ была горда!)
. . . . . .
Графиня же была погружена
Въ самой себѣ, въ волшебствѣ моды новой,
Въ своей красѣ, надменной и суровой.
Она казалась хладный идеалъ
Тщеславія. Его бъ вы въ ней узнали;
Но сквозь надменность эту я читалъ
Иную повѣсть: долгія печали,
Смиренье жалобъ... Въ нихъ-то я вникалъ;
Невольный взоръ онъ-то привлекали.

У него царитъ ласковое и привѣтливое отношеніе къ людямъ, чудная внимательность къ нимъ—все равно, будетъ ли это Напо-

леонъ со своими мощными замыслами или хлопотливая старушка Ларина, будутъ ли это братья-разбойники или дядька Савельичъ изъ «Капитанской дочки», барышня ли крестьянка или задумчивая Мери, одна изъ сестеръ печали и позора, которая поетъ на пиру во время чумы. Его нѣжная любовь къ подругѣ дней его суровыхъ, дряхлой голубкѣ-нянѣ, чья память дорога всей Россіи, потому что она холила его жизнь и разсказала курчавому мальчику русскія сказки, которыя онъ впослѣдствіи такъ счастливо повторилъ,—эта умиленная благодарность питомца, теплой волною пробѣгающая по его произведеніямъ,—тоже лишь частичное проявленіе пушкинской ласки и привѣта всему, что есть на свѣтѣ добраго и дорогого, что спасаетъ отъ житейскаго холода и нравственнаго одиночества.

Да, любовь въ духовномъ строѣ Пушкина занимаетъ первенствующее мѣсто, любовь безъ сантиментальности, внутренне соединенная съ юморомъ и свободой; и сердце его горитъ и любитъ—оттого, что не любить оно не можетъ. Пушкинъ—эхо, не только вѣрное міру, не только правдивое и честное, но и эхо любящее. То, что онъ услышалъ и воспроизвелъ, вызвало въ немъ просвѣтленную любовь къ жизни и высокое благоволеніе къ людямъ.

Это не значитъ, конечно, чтобы у него не было насмѣшки, злой и непріятной эпиграммы, не всегда великодушной шутки: для этого онъ слишкомъ человѣкъ и слишкомъ естественна его поэзія; отсутствіе холодной безукоризненности составляетъ одну изъ привлекательныхъ чертъ его и ея. Это не значитъ и то, чтобы онъ не испытывалъ гнѣва и скорби, чтобы онъ слабо и пассивно воспринималъ зло и несчастіе: мы всѣ помнимъ его печаль, раскаты его поэтическаго негодованія, и это у него страдалецъ возноситъ къ Богу святую месть. Но его Немезида не отталкиваетъ отъ себя, и нелицепріятный судъ ея справедливъ, а печаль его свѣтла. Пушкинъ часто говоритъ о жалкомъ родѣ людей, достойномъ слезъ и смѣха, о тупой черни, и онъ сказалъ эти горькія слова: кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ въ душѣ не презирать людей; но презрѣніе къ пошлости толпы не заглушаетъ его любви къ человѣчеству. Частные недостатки не затемняютъ передъ нимъ общаго величія міровой драмы и ея участниковъ, и многія изъ этихъ «чадъ праха» для него симпатичны. Онъ ихъ не проклинаетъ, какъ порою Байронъ, не издѣвается надъ ними. Они искажаютъ свою природу, когда ихъ соединяетъ въ одно неразумное и слѣпое цѣлое общность предразсудковъ и недостойныхъ заботъ, когда они образуютъ затягивающій омутъ, который опасенъ для всякаго и въ которомъ всѣ могутъ ожесточиться и очерствѣть; но каждая изъ этихъ человѣ-

ческихъ единицъ сама по себѣ способна къ добру. Ошибки и заблужденія современности, осуждающей своихъ непонятыхъ героевъ, своихъ Барклаевъ де Толли, исправитъ поэтъ, который заступится за нихъ, и вообще нельзя отвергнуть міра, доколь въ подлунномъ мірѣ живъ будетъ хоть одинъ піитъ. И на человѣчество, какъ на единый нравственный организмъ, не ложится пятно позора. Поэтому, несмотря на всѣ мгновенныя вспышки горечи и укоризны, у Пушкина незыблема вѣра въ людей, и нѣтъ для него сомнѣнія въ ихъ исконно-доброй природѣ. Поэтому духовный аристократизмъ соединяется у него съ нравственнымъ гостепріимствомъ, и, кромѣ счастья роптанью не внимать толпы непросвѣщенной, онъ знаетъ высшую радость—участьемъ отвѣчать застѣнчивой мольбѣ. Эти гордые совѣты царственнаго одиночества: живи одинъ, останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ, ты самъ свой высшій судъ, обиды не страшись, не требуй и вѣнца, не дѣлись съ толпою пламеннымъ восторгомъ,—они относятся не только къ поэту, но и ко всякому человѣку; однако они вовсе не славятъ холода и надменности, а представляютъ собою великія заповѣди безкорыстія, хвалу внутреннему міру, довѣріе къ его безмолвному суду, который возвышается надъ измѣнчивыми приговорами внѣшней среды. Пушкинъ могъ бы вѣчно жить одинъ, въ самомъ себѣ, питать въ своей душѣ долгія думы,—такъ богатъ былъ его внутренній домъ. И на вопросъ, зародившійся отъ горечи разочарованія: кого жъ любить? кому же вѣрить? кто не измѣнитъ намъ одинъ? онъ смѣло отвѣчалъ: любите самого себя, Это потому, что онъ вѣрилъ въ свои душевныя силы. И это находится въ неизбѣжной связи съ тѣмъ важнѣйшимъ фактомъ его человѣческой и поэтической біографіи, что онъ всегда былъ самимъ собою. Такой подражающій, онъ однако ни для кого не былъ внушаемъ, даже, такъ сказать, для самого себя, и никто и ничто его не гипнотизировали. Онъ, напримѣръ, повѣрилъ Овидію и настроилъ себя на то, чтобы въ странѣ его изгнанія увидѣть пустыню мрачную, туманы, снѣга, нивы безъ тѣней, холмы безъ винограда; но взоръ измѣнилъ обманутымъ мечтаньямъ, и поэтъ, искренній, свободный, правдивый, сознался:

Изгнаніе твое плѣнило втайнѣ очи,
Привыкшія къ снѣгамъ угрюмой полуночи,

и онъ во имя правды легко разстался съ подготовленнымъ настроеніемъ; отъ этого не исчезла поэзія и красота, потому что она для Пушкина была повсюду. Вообще, поразительно, до какой степени это міровое эхо было въ то же время независимо, до какой степени этотъ всеподражатель былъ самостоятеленъ.

Но его независимость, его самодовлѣніе безконечно-далеки отъ мизантропіи; строгость душевнаго уединенія и высшей самостоятельности гармонично разрѣшается для дружбы, которая и въ жизни, и въ твореніяхъ Пушкина, прирожденнаго друга и брата, нашла себѣ такое свѣтлое воплощеніе. Какъ любилъ онъ бесѣду сладкую друзей! «Враговъ имѣетъ въ мірѣ всякъ, но отъ друзей избавь насъ, Боже!»: это—горькая шутка и это осадокъ разочарованія послѣ дружбы, которая заплатила обидой; но правда, но вѣчное желаніе Пушкина, это—«печаленъ я: со мною друга нѣтъ», это—безсмертное созданіе трогательной дружбы, божественно-прекрасныя строфы 19 октября, когда роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ, это—любимые образы Дельвига и Пущина, восторженные посланія и призывы къ товарищамъ, съ которыми онъ хочетъ говорить о бурныхъ дняхъ Кавказа, о Шиллерѣ, о славѣ, о любви. Онъ въ минуты вдохновенія стремится на берега пустынныхъ волнъ, ему необходима деревенская тишина, гдѣ звучнѣе голосъ лирный и гдѣ творческія думы въ душевной зрѣютъ глубинѣ; но и для людей раскрыто его сердце, и ихъ принимаетъ онъ радостно и охотно, и самъ чувствуетъ потребность предаться друзьямъ съ печальной и мятежной мольбою. Онъ можетъ, но не хочетъ быть одинъ ни въ жизни, ни въ смерти. Никто такъ не цѣнитъ человѣка, никто такъ полно, отрадно и признательно не ощущаетъ его желаннаго присутствія, какъ Пушкинъ; даже свой могильный сонъ мечтаетъ онъ окружить игрою чужой молодости. Всякая молодость—его. Онъ дышитъ юностью и красотой. Человѣческое, и въ особенности женское, является для него расцвѣтомъ вселенной:

Прекрасно море въ бурной мглѣ,
И небо въ блескахъ, безъ лазури,
Но вѣрь мнѣ: дѣва на скалѣ
Прекраснѣй волнъ, небесъ и бури.

Такъ велика была его душа, что и самая природа занимала въ ней только опредѣленное мѣсто, не заполняла ея, и отъ природы, красотамъ которой онъ дивился, онъ опять приходилъ къ человѣку, къ дѣвѣ на скалѣ.

И эта дѣва, эта женщина нашла себѣ въ немъ пѣвца очарованнаго и чарующаго. Она будила въ немъ не только страсть, но и умиленіе; она являлась ему какъ мимолетное видѣнье, какъ геній чистой красоты, и, напримѣръ, какое чистое, хорошее чувство къ дѣвушкѣ сказывается у него въ образѣ Маши Мироновой или Маши Троекуровой! Надъ грѣшными пѣснями «страдальца чувственной любви», надъ его страстными стихами возвышается единый образъ

прекрасной женственности и та вѣчная Невѣста его, та невѣдомая и недосягаемая, которую онъ любилъ. У него было много условныхъ встрѣчъ въ садахъ, въ безмолвіи ночей, и такъ зналъ онъ ласки легковѣрныхъ дѣвъ, и слезы ихъ, и поздній ропотъ,—но онъ клялъ эти «коварныя старанья» своей преступной юности, ему было стыдно идоловъ своихъ, потому что истинная душа его была цѣломудренна, единобожна и хотѣла не множества картинъ.

Среди людей его особенно привлекаютъ ясныя, добрыя, безхитростныя души, незамѣтные герои и героини, капитанъ Мироновъ и его дочь. Они служатъ для него оправданіемъ его вѣры въ благой смыслъ жизни, къ которой онъ вообще прилагаетъ мѣрило не внѣшней красоты, а добра,—или, лучше сказать, прекрасное и доброе имѣютъ для него одинъ общій корень. Благоговѣя богомольно передъ святыней красоты, онъ видитъ въ ней и добро; онъ не только не разлучаетъ ихъ въ мнимомъ и поверхностномъ расколѣ, но своей поэзіей онъ углубилъ ихъ связь. Не военные подвиги, не слава безчисленныхъ побѣдъ, а то, что полководецъ хладно руку жметъ чумѣ,—это заставляетъ его цѣнить возвышающій обманъ дороже тьмы низкихъ истинъ. Вѣщій, глубокій обманъ идеала и есть для него настоящая дѣйствительность, настоящая правда и красота. И она проявляется всякій разъ, когда празднуетъ свою великую побѣду нравственное начало бытія. Это не сразу бросается въ глаза, но это несомнѣнно, что Пушкинъ, которому «праздномыслить было отрада», Пушкинъ, любовникъ лѣни, часто поющій ее, свободный изъ свободныхъ, играющій, полный душевной граціи, тѣмъ не менѣе придалъ своей поэзіи высокій этическій духъ. Онъ—пѣвецъ самоотверженія, долга, совѣсти; въ упоительные звуки своихъ пѣсенъ онъ влилъ содержаніе моральное и только освободилъ его отъ угрюмой тяжести принужденія и проклятія. Онъ сочеталъ свободу съ уважительнымъ признаніемъ какихъ-то догматовъ, свѣтлыхъ догматовъ жизни; онъ именно «свободною душой законъ боготворилъ». Если въ раннихъ пьесахъ или, напримѣръ, въ такой прелестной картинкѣ, какъ «Графъ Нулинъ», нравственная мысль скрыта подъ легкимъ покрываломъ шалости, то гораздо чаще она выступаетъ въ своемъ явномъ величіи и могуществѣ. Она дѣлаетъ героическимъ лучезарный образъ Татьяны и въ то же время не заглушаетъ въ ней живой природы: строгое велѣніе долга чудно примиряется съ нѣжностью любовнаго признанія и сладостной мечтой о тѣхъ мѣстахъ, «гдѣ въ первый разъ, Онѣгинъ, видѣла я васъ»; высокій образецъ моральной обязанности, Татьяна вмѣстѣ съ тѣмъ не воплощеніе добродѣтели: она—прежняя, бѣдная Таня, которая плачетъ и тоскуетъ въ лунную ночь и повѣряетъ свою

первую и послѣднюю дѣвичью тайну: «я не больна, я... знаешь, няня, влюблена». Для Пушкина характерна эта человѣческая нравственность, сочетаніе слабости и силы, это отсутствіе моральнаго ригоризма, который высушилъ бы сердце и обратилъ людей въ холодныя мраморныя изваянія. «Грѣхъ алчный гонится за мною по пятамъ»—это всякій можетъ сказать о себѣ, и всякаго грѣхъ настигаетъ. И тогда человѣкъ изнемогаетъ отъ угрызеній совѣсти. Знаменательно, что ей Пушкинъ посвятилъ особенно много вниманія, много незабвенныхъ стиховъ. Совѣсть стучится у него подъ окномъ у крестьянина, который не похоронилъ утопленника; она въ черный день просыпается у разбойниковъ; докучный собесѣдникъ, она когтистымъ звѣремъ скребетъ сердце Скупого рыцаря и окровавленной тѣнью Ленскаго стоитъ передъ Онѣгинымъ; жалобной пѣсней русалки, бредомъ сумасшедшаго мельника она тревожитъ измѣнническое сердце князя; тяжелыми стопами Каменнаго гостя приходитъ она въ грѣховную душу Донъ-Жуана и въ звукахъ моцартовскаго Requiem'а вольется въ черную душу отравителя Сальери. Не самозванецъ, а совѣсть Годунова облеклась въ страшное имя царевича Димитрія, и вся жизненная драма Бориса зиждется на этой потрясенной совѣсти, которая молоткомъ стучитъ въ ушахъ упрекомъ и наливаетъ сердце ядомъ. Ничто не можетъ насъ среди мірскихъ печалей успокоить, ничто, ничто... едина развѣ совѣсть—это глубокое откровеніе жизненной правды, выраженное въ свѣтлыхъ образахъ искусства, составляетъ одинъ изъ главныхъ моментовъ пушкинскаго міросозерцанія.

Совѣсть возстановляетъ для поэта нарушенную цѣльность мірового добра. Всякое преступленіе и несчастіе, всякое зло разрываетъ жизненную ткань, образуетъ какую-то темную пропасть, какое-то зловѣщее зіяніе, котораго не можетъ переносить дивная гармоничность Пушкина. Ему необходимо аккордомъ примиренія, пѣснью Орфея, снова слить разъединенные элементы міра, замкнуть кольцо жизни, дать отвѣтъ на нравственное недоумѣніе. Отсюда—извѣстная черта его элегій, которыя не тонутъ въ безпросвѣтной тоскѣ, а завершаются любовью и надеждой. Отсюда его глубокія упованія, его религія добра. Отсюда его мужество передъ страданіемъ, которое не пугаетъ его, потому что онъ и жить для того хочетъ, чтобы мыслить и страдать. Мысль и прощальная улыбка любви, послѣдніе лучи ея заходящаго солнца, примиряютъ его съ печалью заката и уныніемъ пути. На зло дѣйствительности онъ вѣритъ въ добро. Какъ Петръ Великій мирится съ побѣжденнымъ врагомъ, такъ свѣтлое сердце Пушкина мирится съ жизнью. Ему дороги всѣ мотивы искупленія, ему нужно оправдать человѣчество. И вотъ, Наполеонъ искупилъ для него свои

стяжанья
И зло воинственныхъ чудесъ
Тоскою душнаго изгнанья,
Подъ сѣнью чуждою небесъ,

и къ дочери грознаго и преступнаго Карагеоргія обращаетъ онъ слова утѣшенія и привѣта:

Но ты, прекрасная, ты бурный вѣкъ отца
Смиренной жизнію предъ небомъ искупила.

Ему отрадно, что дочь станціоннаго смотрителя, которая такъ виновата была передъ старикомъ-отцомъ, издалека пріѣхала на бѣдное кладбище, гдѣ онъ уснулъ, и легла у его могилы и горько плакала въ тоскѣ и покаяніи. Маша Троекурова отучила отъ мести Дубровскаго, Пугачевъ имѣетъ въ себѣ черты великодушія и благородства. Всюду сомкнется жизненное зіяніе, гдѣ только засіяетъ лучъ добра. И даже смерть теряетъ свой мрачный обликъ: тамъ, гдѣ неба своды сіяютъ въ блескѣ голубомъ, исчезла въ урнѣ гробовой краса любимой женщины, но не исчезнетъ обѣщанный поцѣлуй свиданія. Безсмертна любовь; но если такъ, что же остается для смерти?

Отъ этихъ утѣшеній не слабѣетъ сердечная боль, и чаша горя испивается вся до дна. Пушкинъ не отрекается отъ скорби, онъ раскрываетъ для нея свою глубокую, свою требовательную, а не легко удовлетворимую душу, онъ мучительно восприметъ и перестрадаетъ свое и чужое горе,—но потомъ оно разрѣшится у него въ хрустальную печаль и не разобьетъ его цѣломудреннаго міровоззрѣнія. Много скорби и горечи, много тоски и негодованія прошло черезъ его душу, но въ ней, благородной, очистились онѣ, какъ и всѣ другія испытанныя имъ волненія, отъ смущающей примѣси минуты и переработались въ радужный кристаллъ типичныхъ человѣческихъ чувствъ. И возвышается среди нихъ чувство живой и непосредственной увѣренности въ томъ, что при всей силѣ мірового несчастія все-таки первѣе и выше въ мірѣ — добро. Для Пушкина сквозь «жизни мышью бѣготню» никогда не отуманивается общій строй и смыслъ бытія, и онъ видитъ въ немъ какое-то непоколебимое благо. Это тѣмъ поразительнѣе, что и отозвался онъ на все людское страданіе, и, кромѣ того, самъ, въ своей личной жизни, испыталъ не только много обычныхъ человѣческихъ невзгодъ, но мучительно пережилъ еще и специфическое горе отъ ума, обиду и трагедію генія. Великій среди малыхъ, естественный среди притворныхъ, онъ долженъ былъ отстаивать свою геніальность, бороться за каждый полетъ своего духа. Свинцовыя гири чужой глупости и

злобы ложились на его крылья. И золотые плоды вдохновенья, творческія мысли и слова, которыя надо было бы принимать изъ его устъ благоговѣйно и молитвенно, какъ Евангеліе красоты, онъ вынужденъ былъ отдавать на судъ чиновниковъ и жандарма—судъ невѣжественный, мелкій, условный, и равнодушныя руки святотатственно касались его драгоцѣнныхъ строкъ, искажали и заглушали его великіе стихи...

Но испытавъ жестокую насмѣшку судьбы, драму одиночества, онъ все же остается благоволящимъ и жизнерадостнымъ, и благодарнымъ; присущее ему чувство признательности онъ распространяетъ на всю жизнь вообще. Насталъ для него полдень, уходитъ отъ него легкая юность, но онъ дружелюбно прощается съ нею и благодаритъ ее за наслажденья, за грусть, за милыя мученья, за шумъ, за бури, за пиры,—за всѣ, за всѣ ея дары. Онъ вполнѣ насладился ею и съ ясною душою пускается въ новый путь. Эта ясность и потомъ не возмутится. Онъ знаетъ, что благо и зло перемѣшаны, и правъ для него судьбы законъ, и поэтому онъ не сѣтуетъ ни на что. Онъ только благословляетъ. Онъ только принимаетъ. Ему дороги настоящіе дары жизни, а что было, то не будетъ вновь.

Все благо: бдѣнія и сна
Приходитъ часъ опредѣленный;
Благословенъ и день заботъ,
Благословенъ и тьмы приходъ.

Онъ любитъ природу не только въ ея лѣто, въ ея праздникъ: онъ навѣститъ поля пустыя, лѣса недавно столь густые. Ему цвѣты осенніе милѣй роскошныхъ первенцовъ полей, разлуки часъ отраднѣй самаго свиданья, и онъ любитъ унылую пору осени, очей очарованье. Тогда нѣтъ уже розъ, но такъ какъ въ мірѣ все прекрасно, все благо и хочется благодарно пить каждое мгновенье, то онъ не станетъ жалѣть о нихъ, увядшихъ съ легкою весной:

Мнѣ милъ и виноградъ на лозахъ,
Въ кистяхъ созрѣвшій подъ горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Какъ персты дѣвы молодой.

Падетъ ли онъ, стрѣлой пронзенный, или мимо пролетитъ она,—онъ идетъ навстрѣчу обѣимъ возможностямъ: и смерти, и жизни. Передъ пѣвцомъ во мглѣ сокрылся міръ земной, но зато мгновенно проснулся его геній,

На все минувшее воззрѣлъ,
И въ хорѣ свѣтлыхъ привидѣній
Онъ пѣсни дивныя запѣлъ.

Наши внуки въ добрый часъ изъ міра вытѣснятъ и насъ, но отъ этого не перестанутъ зрѣть поколѣнья на жизненныхъ браздахъ. Никогда уже родныя сосны не будутъ встрѣчать поэта шумомъ своихъ вершинъ, и не онъ увидитъ ихъ могучій поздній возрастъ; но зато его внукъ, веселыхъ и пріятныхъ мыслей полнъ, пройдетъ мимо нихъ во мракѣ ночи и вспомнитъ о немъ. Мы выпустили птичку на волю,—зачѣмъ же роптать на Бога, когда мы можемъ даровать свободу хотя бы одному творенію?

Наставникамъ, хранившимъ юность нашу,
Всѣмъ честію—и мертвымъ, и живымъ,—
Къ устамъ подъявъ признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадимъ.

Такъ Пушкинъ не помнитъ зла, такъ воздаетъ онъ за благо. Не только въ страдающую и бурную душу Грознаго, не только въ озлобленную душу Мицкевича, но и въ каждое человѣческое существо призываетъ онъ миръ и успокоеніе. Свѣтлый, благосклонный, самый благодарный изъ поэтовъ и людей, онъ привѣтствуетъ жизнь.

Этотъ неизмѣнный и глубокій оптимизмъ, это неодолимое чувство добра, идущее за грань каждой тягостной минуты, дышитъ на всѣхъ страницахъ Пушкина, и его произведенія — художественное оправданіе Творца, какая-то поэтическая Теодицея, могучая вдохновеніемъ своего непосредственнаго порыва и всѣмъ обаяніемъ безсмертнаго пушкинскаго слова. И въ этой Теодицеѣ самъ Пушкинъ со своими стихами является лучшимъ и убѣдительнѣйшимъ доказательствомъ. Его поэзія—отзывъ человѣка на созданіе Бога. Вотъ сотворенъ міръ, и Творецъ спросилъ о немъ человѣчество, и Пушкинъ отвѣтилъ на космическій вопросъ, на дѣло Божьихъ рукъ, — отвѣтилъ признаніемъ и восторженной хвалой, воспѣлъ «хвалебный гимнъ Отцу міровъ». Онъ понялъ, онъ принялъ, онъ оцѣнилъ.

Пушкинъ воплотилъ въ своемъ поэтическомъ словѣ міровую гармонію, и хотя въ немъ, страстномъ поэтѣ, было такъ много непосредственной жизни и любопытства къ ней, что жизни онъ могъ бы отдаться беззавѣтно, онъ все-таки захотѣлъ еще оправдать ее и оправдать свое собственное дыханіе. Онъ это осуществилъ. И онъ принялъ не только міръ, но и самого себя,—а это, быть можетъ, труднѣе всего. «Безумный расточитель», онъ хорошо зналъ муки воспо-

минанія, горькими слезами обливалъ печальныя строки въ его длинномъ, ничего не забывающемъ свиткѣ, чувствовалъ «змѣи сердечной угрызенья»,—но все же онъ преодолѣлъ свою рефлексію и свое раскаяніе и съ собою примирился, согласился, взялъ себя цѣликомъ. Онъ прошелъ по жизни честный, не стыдящійся и довольный.

Въ его признательномъ отношеніи къ бытію совсѣмъ не кроются однако ни резигнація, ни отказъ отъ жизненной борьбы, ни смиренная покорность какой-то слѣпой волѣ. Все дѣло въ томъ, что міровая воля для него не слѣпа; онъ вѣритъ въ ея разумный смыслъ и великую силу ея любви. Поэтому и воцаряется ясный покой въ его солнечной душѣ. Она не мятется. Но это не значитъ, чтобы ей чужды были глубокія человѣческія тревоги: она ихъ уже пережила, ихъ преодолѣла и теперь смотритъ на землю, какъ Мицкевичъ на жизнь,—съ высоты. Уравновѣшенность обыкновенно соединяется съ умѣренностью, а Пушкинъ былъ страстенъ, и гармонія его была не тиха, а патетична. Не равновѣсіе и самодовольство поверхностной натуры, не равнодушіе и блѣдность впечатлѣній эта пушкинская ясность. Она—плодъ великихъ волненій и нравственныхъ бурь. Нынѣ спокойный и свѣтлый, но никогда не утихающій, онъ въ своей внутренней исторіи зналъ и оргіазмъ, опьянѣніе духа, тайную прелесть находилъ и въ самомъ ужасѣ, испыталъ всѣ противорѣчія природы и отозвался на беззаконныя кометы въ кругу расчисленныхъ свѣтилъ. Можно ясно прослѣдить, какъ, въ нашей литературѣ, изъ его гармоніи вышли, напримѣръ, диссонирующіе звуки Некрасова. Въ самомъ дѣлѣ, если не вся некрасовская поэзія, то ея значительная и наиболѣе характерная доля, ея настроенія и даже ея слова, заключены уже въ стихотвореніи Пушкина «Шалость», гдѣ поэтъ жалуется на «проклятую хандру» и гдѣ такъ заканчивается печальная русская картина:

... На дворѣ живой собаки нѣтъ.
Вотъ, правда, мужичокъ; за нимъ двѣ бабы вслѣдъ;
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка
И кличетъ издали лѣниваго попенка,
Чтобъ тотъ отца позвалъ да церковь отворилъ;
Скорѣй, ждать некогда, давно бъ ужъ схоронилъ.

Или предтеча того же Некрасова, пѣвца петербургскихъ кладбищъ, съ его разорванностью между городомъ и деревней, явственно слышится въ этихъ художественныхъ стихахъ:

Когда за городомъ задумчивъ я брожу
И на публичное кладбище захожу—

Рѣшетки, столбики, нарядныя гробницы,
Подъ коими гніютъ всѣ мертвецы столицы,
Въ болотѣ кое-какъ стѣсненные кругомъ,
Какъ гости жадные за нищенскимъ столомъ;
Купцовъ, чиновниковъ усопшихъ мавзолеи
(Дешеваго рѣзца нелѣпыя затѣи!),
Надъ ними надписи и въ прозѣ, и въ стихахъ,
О добродѣтеляхъ, о службѣ, о чинахъ;
По старомъ рогачѣ вдовицы плачъ амурный,
Ворами отъ столбовъ отвинченныя урны,
Могилы склизкія, зѣвающія тутъ,
Которыя жильцовъ къ себѣ на утро ждутъ—
Такія смутныя мнѣ мысли все наводитъ,
Что злое на меня уныніе находитъ:
Хоть плюнуть, да бѣжать.
Но какъ же любо мнѣ
Осеннею порой, въ вечерней тишинѣ,
Въ деревнѣ посѣщать кладбище родовое,
Гдѣ дремлютъ мертвые въ торжественномъ покоѣ:
Тамъ неукрашеннымъ могиламъ есть просторъ!
Къ нимъ ночью темною не лѣзетъ блѣдный воръ;
Близъ камней вѣковыхъ, покрытыхъ желтымъ мохомъ,
Проходитъ селянинъ съ молитвой и со вздохомъ;
Намѣсто праздныхъ урнъ и мелкихъ пирамидъ,
Безносыхъ геніевъ, растрепанныхъ харитъ,
Стоитъ широкій дубъ надъ важными гробами,
Колеблясь и шумя...

Можно ли въ картинахъ смерти выразительнѣе описать двѣ жизни, въ ихъ противоположности,—городскую и деревенскую? И блѣдное лицо вора въ темной рамѣ ночи, около склизкихъ, зѣвающихъ могилъ, крадущагося за безносыми геніями и растрепанными харитами,—не есть ли это тотъ самый кошмаръ города и та боделэровская черная поэзія безобразія, которые занимаетъ современное утонченное искусство, повидимому, такъ далеко ушедшее отъ Пушкина, а на самомъ дѣлѣ имъ пережитое?

Или—другой диссонансъ. Всегда совершается пиръ во время чумы, всегда одновременно кто-нибудь пируетъ и кто-нибудь умираетъ («эта черная телѣга имѣетъ право всюду разъѣзжать»); и на одномъ изъ такихъ празднествъ, окаймленныхъ черной смертью, Пушкинъ надъ нею смѣется, дерзновенно славитъ царствіе чумы и раскрываетъ экстатическія глубины обезумѣвшаго сердца:

Есть упоеніе въ бою,
И бездны мрачной на краю,
И въ разъяренномъ океанѣ
Средь грозныхъ волнъ и бурной тьмы,
И въ аравійскомъ ураганѣ,
И въ дуновеніи чумы!
Все, все, что гибелью грозитъ,
Для сердца смертнаго таитъ
Неизъяснимы наслажденья—
Безсмертья, можетъ быть, залогъ!
И счастливъ тотъ, кто средь волненья
Ихъ обрѣтать и вѣдать могъ.

Наслажденіе въ гибели, благодатный ядъ вина, дыханіе дѣвы-розы, быть можетъ полное чумы, и здѣсь же рядомъ, на краю этой беззаконной бездны, «бездны мрачной на краю»,—тихая какъ свирѣль, простая какъ василекъ, протяжная и унылая пѣснь Мери. Демонизмъ утонченнаго Вальсингама и здѣсь же—вся сплетенная изъ элементарныхъ, непосредственныхъ ощущеній, грустная жалоба и мольба дѣвичьяго сердца, обвѣянная деревенской тишиной и наивностью. И какіе звуки!

Было время, процвѣтала
Въ мирѣ наша сторона:
Въ воскресеніе бывала
Церковь Божія полна;
Нашихъ дѣтокъ въ шумной школѣ
Раздавались голоса,
И сверкали въ свѣтломъ полѣ
Серпъ и быстрая коса.

Нынѣ церковь опустѣла;
Школа глухо заперта;
Нива праздно перезрѣла,
Роща темная пуста,
И селенье, какъ жилище
Погорѣлое, стоитъ;
Тихо все—одно кладбище
Не пустѣетъ, не молчитъ.

Поминутно мертвыхъ носятъ,
И стенанія живыхъ
Боязливо Бога просятъ
Упокоить души ихъ!

Поминутно мѣста надо,
И могилы межъ собой,
Какъ испуганное стадо,
Жмутся тѣсной чередой.

Если ранняя могила
Суждена моей веснѣ—
Ты, кого я такъ любила,
Чья любовь отрада мнѣ,
Я молю: не приближайся
Къ тѣлу Дженни ты своей;
Усть умершихъ не касайся,
Слѣдуй издали за ней.

И потомъ оставь селенье!
Уходи куда-нибудь,
Гдѣ бъ ты могъ души мученье
Усладить и отдохнуть!
И когда зараза минетъ,
Посѣти мой бѣдный прахъ;
А Эдмонда не покинетъ
Дженни даже въ небесахъ!

Ты, кого я такъ любила... уходи куда-нибудь... — слова, какъ будто взятыя изъ самой блѣдной обыденности, но подъ рукою Пушкина, въ художественномъ контекстѣ, сразу затеплившіяся нѣжной поэзіей, — и наименьшая искусственность дала высокое созданіе искусства.

И вообще, если по своему содержанію и смыслу поэзія Пушкина является, какъ мы уже сказали, оправданіемъ Творца, оправданіемъ добра, то это ея значеніе сказывается уже и въ самой формѣ, въ самыхъ звукахъ его стихотвореній. Не только опредѣленные сюжеты и общій строй его пѣсенъ, но и сами онѣ, просто какъ пѣсни, даже отдѣльные тоны ихъ, ласкающіе сердце, уже примиряютъ съ природой и жизнью. Ибо никогда еще человѣческое слово не устраивало себѣ такого пира, такого свѣтлаго праздника, никогда не достигало оно такого ликованія и торжества, какъ въ этомъ сіяющемъ творчествѣ, которое претворило въ звуки всю благость и всю красоту мірозданія. Какъ воздать Пушкину за то благозвучіе, которымъ наполнилъ онъ души, за тотъ восторгъ, который рождаютъ его стихи? Чѣмъ отплатить ему за художественное блаженство, которымъ даритъ насъ почти каждое слово, каждый эпитетъ его произведеній?..

Признаніе міра, хвала Богу выражаются у Пушкина именно

уже въ самыхъ эпитетахъ его, изумительнѣе которыхъ нельзя себѣ ничего представить. Они не изысканы, и онъ ихъ не придумываетъ; они просты какъ природа, какъ вся его поэзія; онъ ихъ какъ будто незамѣтно и безпечно роняетъ, и между тѣмъ уже въ нихъ однихъ, въ глубинѣ этихъ опредѣленій, этихъ прилагательныхъ, раскрываются законченное міросозерцаніе и послѣдняя характеристика вселенной, и каждому существу и каждому предмету отводятъ они какъ разъ его сокровенное значеніе, его неизмѣнное мѣсто въ общемъ строѣ бытія. Они слово и вещь соединили вѣчной и необходимой связью, отожествили ихъ; все случайное здѣсь улетучилось, и каждый эпитетъ—бездна, каждый эпитетъ—живая, звучащая философія. Онъ идетъ прямо въ глубину, онъ объясняетъ, и въ точности, въ необходимости его есть нѣчто божественное. Ибо назвать предметъ—это значитъ его понять, указать его сродство съ другими, и это значитъ также вдохнуть въ него самую жизнь, живую душу,—только названное существуетъ. Надо дать имя міру, и лишь тогда міръ будетъ жить. Припомните великія слова Библіи: «Господь Богъ образовалъ изъ земли всѣхъ животныхъ полевыхъ, и всѣхъ птицъ небесныхъ и привелъ къ человѣку, чтобы видѣть, какъ онъ назоветъ ихъ, и чтобы, какъ наречетъ человѣкъ всякую душу живую, такъ и было имя ей». И вотъ человѣкъ далъ имена «всѣмъ птицамъ небеснымъ и всѣмъ звѣрямъ полевымъ». Послѣ Пушкина міръ во всякомъ случаѣ названъ.

И эти названія, эти живущія слова, всегда русскія, чисто-русскія, почерпнутыя изъ свѣжихъ народныхъ родниковъ, принимаютъ каждый разъ особую окраску — даже той чужой страны, чужого склада, которыхъ имъ приходится касаться. Мы уже видѣли это въ геніальномъ Подражаніи Корану, но это такъ вездѣ: и въ дантовскихъ терцинахъ, и въ протяжномъ и прекрасномъ «Талисманѣ», и въ мотивахъ изъ Библіи, и въ пѣсняхъ славянъ.

Возьмите, напримѣръ, отрывокъ изъ упомянутаго раньше посланія къ Юсупову:

Такъ, вихорь дѣлъ забывъ для нѣгъ и лѣни праздной,
Въ тиши порфирныхъ бань и мраморныхъ палатъ
Вельможи римскіе встрѣчали свой закатъ.
И къ нимъ издалека то воинъ, то сенаторъ,
То консулъ молодой, то сумрачный диктаторъ
Являлись день-другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься въ путь.

Что же, развѣ сквозь эти звуки, не заглушая, не искажая ихъ, не слышится и рѣчь латинская? Развѣ въ этихъ семи строкахъ не

показана вся даль античной культуры и психологіи, величественной какъ римскіе вельможи? Въ медленно ниспадающихъ складкахъ этихъ дорогихъ стиховъ не чуется ли вамъ торжественный шелестъ древнихъ тогъ? И однако здѣсь дано не только мѣстное, ушедшее, исторически ограниченное: кому изъ утомленныхъ путниковъ жизненной дороги будетъ чуждо это естественно-человѣческое «вздохнуть о пристани»? Или какая обще-психологическая глубина въ томъ, что слову *диктаторъ* приданъ эпитетъ *сумрачный!* Диктаторъ является къ праздному вельможѣ день-другой роскошно отдохнуть, расправить морщины на своемъ сумрачномъ челѣ, потому что уже невыносимо стало для него это бремя власти и отвѣтственности, какое возложили на его обыкновенныя, человѣческія плечи. Ему ли не быть сумрачнымъ, когда онъ одинъ, точно Богъ, долженъ диктовать народу свою волю и встрѣчать не совѣтъ и помощь, а только послушаніе; когда онъ, какъ Атласъ, держитъ на себѣ цѣлый міръ міродержавнаго Рима и жизнь и смерть милліоновъ людей?

Или вспомните стихи, которые такъ сильны, что ихъ можно трепетать какъ живого существа, — и точно выковалъ ихъ молотъ Гефеста:

Когда владыка ассирійскій
Народы казнію казнилъ
И Олофернъ весь край азійскій
Его десницѣ покорилъ,—
Высокъ смиреньемъ терпѣливымъ
И крѣпокъ вѣрой въ Бога силъ,
Передъ сатрапомъ горделивымъ
Израиль выи не склонилъ.
Во всѣ предѣлы Іудеи
Проникнулъ трепетъ. Іереи
Одѣли вретищемъ алтарь.
Главу покрывъ золой и прахомъ,
Народъ завылъ, объятый страхомъ,—
И внялъ ему Всевышній царь.
Пришелъ сатрапъ къ ущельямъ горнымъ
И зритъ: ихъ тѣсныя врата
Замкомъ замкнуты непокорнымъ,
Грозой грозится высота.
И, надъ тѣсниной торжествуя
Какъ мужъ на стражѣ въ тишинѣ,
Стоитъ, бѣлѣясь, Ветилуйя
Въ недостижимой вышинѣ.

Замокъ — непокорный, имъ замкнуты тѣсныя врата, грозится высота: все это сильное, еще усиленное аллитераціями, въ то же время не достигнуто преднамѣренно какими-нибудь внѣшними пріемами и не разсчитано на эффектъ. Царь и властелинъ слова, Пушкинъ не является однако ювелиромъ или виртуозомъ его. Онъ не играетъ въ звуки. Риѳмы съ нимъ запросто живутъ. Его высокая фонетика только соотвѣтствуетъ подъему его вдохновеннаго чувства. И то, что въ его красоту изрѣдка вторгаются стихи блѣдные или вялые, это не ослабляетъ впечатлѣнія, а только дополняетъ тотъ обликъ непосредственной простоты, естественности и несовершенной человѣчности, который такъ присущъ Пушкину и въ немъ такъ дорогъ. Великому не прощаешь малаго; но у Пушкина это малое звучитъ какъ родное, интимно и тепло, и еще болѣе сближаетъ насъ съ нимъ, далекимъ геніемъ.

Сильное, страшное, боевое, какъ Полтавскій бой, или «Стамбулъ гяуры нынче славятъ» или грозныя картины Кавказа свойственны его поэзіи такъ же органически, какъ и мотивы совершенно иные, нѣжные, тихіе и ласковые, какъ разговоръ Татьяны съ няней, или «Для береговъ отчизны дальной», или «Прибѣжали въ избу дѣти», или это деревенское

Есть мѣсто: влѣво отъ селенья,
Гдѣ жилъ питомецъ вдохновенья,
Двѣ сосны корнями срослись;
Подъ ними струйки извились
Ручья сосѣдственной долины.
Тамъ пахарь любитъ отдыхать,
И жницы въ волны погружать
Приходятъ звонкіе кувшины;
Тамъ у ручья, въ тѣни густой
Поставленъ памятникъ простой.
Подъ нимъ (какъ начинаетъ капать
Весенній дождь на злакъ полей),
Пастухъ, плетя свой пестрый лапоть,
Поетъ про волжскихъ рыбарей;
И горожанка молодая,
Въ деревнѣ лѣто провождая,
Когда стремглавъ верхомъ она
Несется по полямъ одна,
Коня предъ нимъ остановляетъ,
Ременный поводъ натянувъ
И флеръ отъ шляпы отвернувъ,

Глазами бѣглыми читаетъ
Простую надпись—и слеза
Туманитъ нѣжные глаза.

Мы подчеркнули живыя детали, чудно восполняющія элегическую картину; возникаетъ какое-то чувство благодарности къ Пушкину за то, что онъ все это замѣчаетъ, видитъ всѣ эти наши человѣческія движенія.

Когда онъ прикасается къ родинѣ, когда передаетъ русскую сказку, онъ находитъ слова и риѳмы, очаровательныя въ своей наивности, и самая обычность созвучій производитъ въ нихъ впечатлѣніе первобытности и простоты. Вы слышите съ какою-то радостью:

Въ синемъ небѣ звѣзды блещутъ,
Въ синемъ морѣ волны хлещутъ.

Развѣ не есть что-то мило-дѣтское въ такихъ стихахъ, въ такихъ сочетаніяхъ:

Отвѣчаетъ вѣтеръ буйный:
Тамъ, за рѣчкой тихоструйной,
Есть *высокая гора*;
Въ ней *глубокая нора*?

Или:

Вѣтеръ, вѣтеръ, ты могучъ,
Ты гоняешь стаи тучъ,
Ты волнуешь сине море,
Всюду вѣешь на просторѣ,
Не боишься никого,
Кромѣ Бога одного.

Но безнадежна всякая попытка доказать Пушкина... Надо просто его читать, раскрыть почти на любой страницѣ его книгу, отдаться ей слухомъ и духомъ, и тогда каждый самъ почувствуетъ, что даже не въ одномъ содержаніи—величіе нашего великаго, а въ самомъ теченіи, въ звучащей радости его стиховъ.

Укажемъ еще только на ихъ высокую простоту. Само естество смотрится въ его творенія какъ въ зеркало. Ничего вычурнаго, красота безъ украшеній, классическій стиль природы и строгая чистота линій. Вспомните и прозу его, этотъ вѣнецъ словесной прозрачности. Сама дѣйствительность, если бы захотѣла разсказать о себѣ, заговорила бы умной прозой Пушкина. Обыкновенно въ разсказахъ другихъ писателей событіе отягощается словами, обыкновенно между фактомъ и повѣданіемъ его есть какой-то промежу-

токъ, въ теченіе котораго событіе искажается, — у Пушкина этого нѣтъ, и дѣло не туманится разсказомъ, остается чисто, неприкосновенно, и каждый разъ взято именно столько словъ, сколько нужно. Смѣло и увѣренно вьется нить событій, и если даже они могутъ произвести на васъ впечатлѣніе потрясающее, отъ васъ не требуетъ авторъ, чтобы вы остановились на нихъ подольше. Вотъ въ «Капитанской дочкѣ» такъ быстро, слишкомъ быстро для нашей медлительной привычки, но въ соотвѣтствіи съ природой, разыгрываются необычныя дѣла, и по знаку Пугачева, сидящаго на крыльцѣ, одного за другимъ вѣшаютъ живыхъ людей. И Пушкинъ разсказываетъ объ этомъ безъ нервности, безъ всякаго разсчета на человѣческіе нервы, разсказываетъ въ томъ же тонѣ и такимъ же складомъ, какъ и о другихъ перипетіяхъ своей исторіи. И дѣйствительность сказала бы ему, что такъ и надо, что онъ правъ. Въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, мы напрасно волнуемся, и всѣ эти казни, убійства, кровавый бунтъ или сцена, когда Мироновъ на валу благословляетъ свою дочь, не представляютъ собою ничего особеннаго, являются событіями среди событій,—не больше, не меньше другихъ. Все это патетично только для насъ, а не само по себѣ. Не будемъ же волноваться. Будемъ какъ природа, которая не знаетъ нашего, мнимаго паѳоса. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Пушкинъ какъ-то наивно, мило, живо интересуется всякимъ выдающимся происшествіемъ или похожденіемъ.

Такъ владѣлъ онъ этой великой тайной простоты, такъ показалъ онъ, что истинная поэзія приникаетъ къ землѣ и цѣлуетъ ее, какъ это дѣлаютъ и выросшіе изъ нея золотые колосья. Въ перлъ художества возводилъ онъ все естественное и обыкновенное, и тогда въ обыденной сферѣ являлась красота, и деревенская барышня принимала чарующій обликъ Татьяны. Конечно, правъ Платонъ: истина въ идеяхъ, а жизнь невѣрна. Жизнь только приблизительна. И оттого понятно, что многіе поэты, воплощая идеи, испытывать соблазнъ уходить отъ внѣшней реальности,— брезгаютъ ею, украшаютъ, идеализируютъ; они не видятъ красоты въ обманѣ и конкретности буденъ. Но Пушкинъ смѣло беретъ жизнь именно въ ея приблизительности и этимъ уменьшаетъ послѣднюю, т.-е. приближаетъ явленіе къ идеѣ, къ идеалу (а не наоборотъ). Такъ опоэтизирована дѣйствительность у Пушкина, что уже не велико осталось разстояніе отъ предмета къ идеѣ. Міръ пронизанъ у него красотою насквозь. Его поэзія—оправданіе прозы.

И потому несравненная осязательность его произведеній открываетъ къ нимъ доступъ для всѣхъ, а эти звуки, эта благодатная необходимость и незамѣнимость его сладкихъ словъ приводятъ къ

тому, что изъ Пушкина можно сдѣлать религію. Хочется молиться Пушкину. Если бы въ мірѣ не было другихъ книгъ, кромѣ его, то и этого было бы достаточно, потому что и въ нихъ отразился міръ и дышитъ его душа. Во всякомъ случаѣ, въ Россіи homo unius libri можно быть лишь тому, кто читаетъ Пушкина.

Божественное эхо божественнаго голоса, онъ въ томъ же стихотвореніи «Реветъ ли звѣрь въ лѣсу глухомъ» выразилъ нѣжную, безпредѣльно-сочувственную мысль, что эхо сиротливо, что оно все отдаетъ, на все откликается, но само нигдѣ не находитъ отзыва. Нѣтъ ничего болѣе одинокаго, чѣмъ эхо. И Пушкинъ въ своей личной жизни испыталъ это въ полной мѣрѣ. Но теперь, Пушкинъ идеальный, Пушкинъ безсмертный, въ завѣтной лирѣ пережившій свой прахъ,—теперь онъ не одинокъ. Эхо міра, на все отвѣтившее, онъ нынѣ самъ слышитъ отвѣты восхищеннаго міра, и пока будетъ звучать на землѣ русское слово, до тѣхъ поръ не отзвучитъ его поэзія,—не только какъ историческое преданіе, но и какъ вѣчное настоящее. Этому порукой и то, что всечеловѣчности ея художественнаго содержанія соотвѣтствуетъ ея лиризмъ: онъ не носитъ печати узкой субъективности и служитъ какъ бы вселенскимъ языкомъ, который понятно и плѣнительно звучитъ для всѣхъ временъ и поколѣній. И у насъ стѣсняется душа лирическимъ волненьемъ, когда мы читаемъ Пушкина. Мы всѣ вмѣстѣ съ нимъ бродимъ вдоль улицъ шумныхъ и стараемся угадать грядущей смерти годовщину; мы всѣ провожаемъ кого-нибудь въ часъ незабвенный, въ часъ печальный, и каждому изъ насъ наноситъ хладный свѣтъ неотразимыя обиды; на братской перекличкѣ и намъ не отозвалось много голосовъ, и наши дни тянулись безъ божества, безъ вдохновенья, безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви; и мы, какъ друга ропотъ заунывный, слушали призывный шумъ свободной стихіи. И никому не чужды эти «стихи, сочиненные ночью, во время безсонницы», когда ночь спитъ, а человѣкъ бодрствуетъ и слышитъ «спящей ночи трепетанье», трепетанье этой огромной черной бабочки, и «укоризну или ропотъ» безплодно утраченнаго дня,—ибо ночью пришелъ день, сталъ у изголовья, у безсоннаго изголовья, и немилосердно требуетъ отвѣта и отчета. «Вновь я посѣтилъ тотъ уголокъ земли», это скажетъ всякій: такъ въ своихъ стихотвореніяхъ разсказалъ Пушкинъ свою біографію, что она сдѣлалась біографіей всечеловѣческой. Перемѣните имена, отдѣльные подробности и факты, и это будете вы; разскажите Пушкина, и вы разскажете все.

И оттого Пушкинъ—самое драгоцѣнное, что есть у Россіи, самое родное и близкое для каждаго изъ насъ; и оттого, какъ замѣ-

тилъ одинъ изслѣдователь русской литературы, мы почти не можемъ говорить о немъ спокойно, объективно, безъ восторга. Мы вспоминаемъ эту дорогую кудрявую голову, мы повторяемъ его стихи, которые И. С. Аксаковъ назвалъ благодѣяніемъ, и, облагодѣтельствованные его стихами, истолкованіемъ Божества, бодрѣе продолжаемъ свою трудовую дорогу: мы знаемъ, что въ степи мірской, печальной и безбрежной, есть неизсякаемый животворный источникъ, гдѣ обновляется наше воодушевленіе и сила жизни, гдѣ мы почерпаемъ все новыя и новыя возможности мыслить и чувствовать, гдѣ намъ дается святое причастіе красоты. Ибо въ его поэтической школѣ, въ кругу его образовъ, въ вѣнцѣ его стиховъ, міръ возстаетъ передъ нами въ своемъ очарованіи и въ своемъ вѣчномъ смыслѣ. И вотъ, его стихи лепечутъ уста дѣтей, и его же стихи, не покидаемые въ стѣнахъ школы, на обязательныхъ страницахъ хрестоматій, текутъ вослѣдъ за нами въ продолженіе всей нашей жизни и, «ручьи любви», навсегда вливаются въ наши взрослыя души. И такъ проходятъ года, десятилѣтія; прошло болѣе столѣтія со дня его рожденія, а самъ онъ не проходитъ. Великій и желанный спутникъ, вѣчный современникъ, онъ идетъ съ нами отъ нашего дѣтства и до нашей старости, онъ всегда около насъ, онъ всегда откликается на зовъ нашего сердца, жаждущаго прекрасныхъ откровеній. Какое счастье!..

II.

Отклики Пушкину.

Русланъ и Людмила.

Первый крупный опытъ юнаго поэта, блистательная игра воображенія и дарованія, показалъ всѣмъ, кто хотѣлъ и могъ видѣть, что въ лицѣ Пушкина надъ русской землею взошло незакатное свѣтило. Въ самомъ дѣлѣ, уже здѣсь дано въ зародышѣ великое разнообразіе его, то поэтическое *все*, которое такъ характерно для нашего Протея, и уже здѣсь намѣчены мотивы и особенности его будущаго творчества. Живой привѣтъ жизни, чарующее любопытство къ ея происшествіямъ и сказкамъ, безпечная молодая шутливость: въ такой формѣ явилось нѣчто болѣе глубокое и философское, чѣмъ это можетъ показаться на первый взглядъ.

Многосторонность, радужно сверкающая въ граняхъ «Руслана и Людмилы», переливы настроеній, волшебная измѣнчивость тона, отъ ироніи до паѳоса, свидѣтельствуютъ прежде всего о духовной свободѣ Пушкина; подражая, онъ все-таки не подчинился ни одному образцу, никѣмъ и ничѣмъ не былъ загипнотизированъ и, прежде чѣмъ сквозь магическій кристаллъ увидѣлъ даль *свободнаго* романа, онъ, играя и претворяя, создалъ такую же свободную поэму и тамъ разнородные элементы жизни сочеталъ въ единство своего несвязаннаго духа. Безъ внутреннихъ путъ и внутренне разрѣшая путы наружныя, онъ, двадцатилѣтній, пѣсни грѣшныя свои обвѣялъ, пока еще легкимъ, дыханіемъ родной миѳологіи и русскаго историзма, къ которому впослѣдствіи такъ чисто возвращался, и любовно возродилъ у лукоморья дубъ зеленый. Лукавое, чувственное и шаловливое онъ поставилъ на ряду съ серьезнымъ, «смѣшное съ важнымъ сочеталъ»,—и это было такъ смѣло, особенно, въ юношескихъ устахъ. Игривыя проказы онъ перевилъ необходимо явившейся нитью элегіи,—этой горестной думой Руслана: «О, поле, поле, кто тебя усѣялъ

мертвыми костями». Онъ принялъ все: фантазію и бытъ, великое и малое, героическій подвигъ и трусливый побѣгъ; онъ не устрашился ничего, и все оказалось ему на его поэтическую потребу, ни для чего не пожалѣлъ онъ яркихъ красокъ своей драгоцѣнной сказки.

Не боясь человѣка, онъ описалъ его цѣликомъ; не заботясь о впечатлѣніи, увѣренный въ немъ, онъ, напримѣръ, не задумался сдѣлать своего Руслана смѣшнымъ (даже вспомнился ему «султанъ курятника спѣсивый»), чтобы лишь потомъ возстановить его въ рыцарскихъ правахъ, въ его мужскомъ и богатырскомъ достоинствѣ.

Или скорбную Людмилу, поступаясь во имя жизни цѣльностью трагическаго эффекта, Пушкинъ не освободилъ отъ кокетства въ самой скорби и добродушно и ласково пошутилъ надъ нею. Вотъ она твердо рѣшилась на самоубійство и передъ шумными водами уже ударила себя, рыдая, въ грудь,

Въ волнахъ рѣшила утонуть—
Однако въ воды не прыгнула
И далѣ продолжала путь.

Она такъ же твердо рѣшилась уморить себя голодомъ:

„Не нужно мнѣ твоихъ шатровъ,
Ни скучныхъ пѣсенъ, ни пировъ—
Не стану ѣсть, не буду слушать,
Умру среди твоихъ садовъ!“
Подумала—и стала кушать.

Отъ посягательства Черномора она спасла себя тѣмъ, что завизжала (въ страхѣ, и кулакъ она занесла дрожащій,—этотъ кулакъ, въ который Пушкинъ не постѣснился сложить изящную ручку своей героини). Женскимъ визгомъ побѣдоносно отразивъ колдуна, Людмила всю ночь своей судьбѣ въ слезахъ дивилась—и смѣялась. Легко соединяя слезы и смѣхъ, она поутру встала и къ высокимъ, чистымъ зеркаламъ обратила взоръ *невольный*, потомъ

Невольно кудри золотыя
Съ лилейныхъ плечъ приподняла;
Невольно волосы густые
Рукой *небрежной* заплела;
Свои вчерашніе наряды
Нечаянно въ углу нашла;
Вздохнувъ, одѣлась, и съ досады

Тихонько плакать начала,
Однако, съ вѣрнаго стекла,
Вздыхая, не сводила взора...

Это нежеланіе принять Людмилу въ серьезъ не помѣшало молодому автору создать для нея ослѣпительно-красивые стихи и ее самое сдѣлать поэтичной и прекрасной,—обвить вѣнцомъ перловымъ окружность блѣднаго чела.

Или въ разсказѣ Финна, ушедшаго отъ жизни «подъ дремлющіе своды, ровесники самой природы», грустная повѣсть нераздѣленной любви заканчивается комикой, гротескомъ. Юноша-пастухъ трепетно открывается Наинѣ въ своей любви, но слушаетъ отъ нея равнодушный отвѣтъ:

Пастухъ, я не люблю тебя.

Тогда отвергнутый любовникъ, съ такою психологической обоснованностью, задумалъ бранной славой заслужить вниманье гордое Наины; и вотъ, подъ вліяніемъ женщины трудно переворачивается страница жизненной книги, мирную пастораль смѣняетъ баталія, и это явственно слышится въ самомъ звукѣ и строѣ стиховъ, грозныхъ, мощныхъ, боевыхъ:

Впервые тихій край отцовъ
Услышалъ бранный звукъ булата
И шумъ немирныхъ челноковъ.
Я вдаль уплылъ, надежды полный,
Съ толпой безстрашныхъ земляковъ;
Мы десять лѣтъ снѣга и волны
Багрили кровію враговъ.
Молва неслась: цари чужбины
Страшились дерзости моей,
Ихъ горделивыя дружины
Бѣжали сѣверныхъ мечей.

Но когда кончилась десятилѣтняя война за женщину, за новую Елену, и безстрашные воины, между собою «дѣлившіе дани и дары», повѣсили подъ родною сѣнью финскихъ хижинъ свои «праздныя» кольчуги, и бывшій пастухъ къ ногамъ красавицы надменной принесъ свои жизненные трофеи, мечъ окровавленный, кораллы, злато и жемчугъ; когда онъ, побѣдитель, склонился передъ нею, своей побѣдительницей, въ кругу ея завистливыхъ подругъ,—тогда она равнодушно отвѣтила ему:

Герой, я не люблю тебя.

Она не любила ни пастуха, ни героя. Но онъ любилъ ее. И дважды отвергнутый любовникъ рѣшился привлечь ее къ себѣ мудрыми чарами. Какъ Фаустъ, онъ сталъ изучать науку сѣдыхъ колдуновъ, живущихъ «подъ кровомъ вѣчной тишины»,—и тамъ, среди лѣсовъ, провелъ онъ «невидимые годы». Наконецъ, осуществились его желанія, обрѣли силу его заклинанія, и передъ нимъ явилась Наина,—

Старушка дряхлая, сѣдая,
Глазами впалыми сверкая,
Съ горбомъ, съ трясучей головой,
Печальной ветхости картина...

Невидимые годы промелькнули; ихъ, какъ это обычно, не замѣтилъ увлеченный Финнъ, и онъ не сосчиталъ, что ихъ прошло ужъ сорокъ. И «пищитъ» ему дѣва роковая: сегодня семьдесятъ мнѣ било,—

Конечно, я теперь сѣда,
Немножко, можетъ быть, горбата,
Не то, что въ старину была,
Не такъ жива, не такъ мила...

Но колдовство свершилось, и старуха любитъ Финна, «сквозь кашель» шепчетъ ему страстныя желанья, зоветъ его въ свои ужасныя объятія,—

И между тѣмъ она, Русланъ,
Мигала томными глазами,
И между тѣмъ за мой кафтанъ
Держалась тощими руками;
И между тѣмъ—я обмиралъ,
Отъ ужаса зажмуря очи,—

и бѣжалъ отъ влюбленной старухи слишкомъ успѣвшій въ своихъ чарахъ старикъ (теперь только замѣтилъ онъ и собственную старость),—а вослѣдъ ему неслись жалобы и сѣтованія колдуньи, «невинной дѣвы», проклятья измѣннику, дѣвичьему вору...

Что же, остроумная буфонада оскорбила ли здѣсь горькую правду о насмѣшкахъ и обидѣ старости, о томъ, какъ, издѣваясь, жизнь несетъ свои запоздалые и искаженные дары, о томъ, какъ въ своей ироніи она равно обманываетъ и пастуха, и героя, и ученаго? И потускнѣлъ ли молодой образъ красавицы Наины? И такъ ли ужъ далекъ отъ Финна, въ его смѣшномъ и въ его трогательномъ, герой Шиллера, неизмѣнный рыцарь Тогенбургъ?

Такъ, принимая все, Пушкинъ знаетъ, что никакимъ изображеніемъ жизни ея не оскорбишь,—она все побѣдитъ и претворитъ, очиститъ въ своихъ бездонныхъ водахъ; она за себя ручается и не трепещетъ, когда подходитъ къ ней ея вѣрный пѣвецъ.

Въ сплетеніи торжественнаго и забавнаго рисуются и четыре путника, разными дорогами отправившіеся на поиски идеала,—и есть въ ихъ судьбѣ нѣчто общечеловѣческое и общепоучительное. Одинъ изъ нихъ скоро выбылъ изъ строя: «Людмилы мрачный обожатель», Рогдай. Онъ былъ завистливъ и угрюмъ, таилъ въ себѣ любви и ненависти ядъ—вѣроятно, далекій предтеча Сальери. Онъ не могъ простить Руслану его ожидаемаго счастья, и онъ трагически погибъ въ упорномъ боѣ съ нимъ. Этотъ поединокъ написанъ, какъ и многое въ «Русланѣ и Людмилѣ», въ какихъ-то космическихъ тонахъ: при лунномъ свѣтѣ, точно исконныя міровыя силы, борются два богатыря, «на вражьей груди грудь дрожитъ», и ихъ могучія фигуры, и ихъ могучія тѣни выступаютъ на фонѣ самой природы. О гибели Рогдая говоритъ Пушкинъ въ стилѣ волшебной баллады, въ стихахъ неописуемой красоты, печали и звучности:

И Руси древній удалецъ
Въ пустынѣ свой нашелъ конецъ.
И слышно было, что Рогдая
Тѣхъ водъ русалка молодая
На хладны перси приняла
И, жадно витязя лобзая,
На дно со смѣхомъ увлекла.
И долго послѣ, ночью темной,
Бродя близъ тихихъ береговъ,
Богатыря призракъ огромный
Пугалъ пустынныхъ рыбаковъ.

Но рядомъ съ темной силой Рогдая—смѣло введенный Пушкинымъ въ среду богатырей Фарлафъ, «крикунъ надменный», и какъ жизненна между ними его трусливая фигура! «Въ пирахъ никѣмъ не побѣжденный, но воинъ скромный средь мечей», «доблестный» Фарлафъ, «благоразумный нашъ герой» обращается въ бѣгство при первомъ же призракѣ опасности, покинувъ свой обѣдъ, копье, кольчугу, шлемъ, перчатки. Онъ упалъ въ грязный ровъ и, озабоченный своимъ здоровьемъ, лежитъ, размышляя «живъ ли я?», пока не убѣждается: «ну, слава Богу, я здоровъ!» и выслушиваетъ отъ колдуньи эти обидные, но удобные для его здоровья совѣты:

„Встань, *молодецъ*, все тихо въ полѣ,
Ты никого не встрѣтишь болѣ;
. . . . . .
Опасно разъѣзжать по свѣту.
. . . . . .
Ступай тихохонько назадъ.
Подъ Кіевомъ, въ уединеньѣ,
Въ своемъ наслѣдственномъ селеньѣ
Останься лучше безъ заботъ.

И такъ естественно, въ лучахъ пушкинскаго юмора, это превращеніе богатыря въ обывателя, который сталъ поживать въ своемъ наслѣдственномъ селеньѣ, сердечно позабывъ о славѣ, ея чуждаясь, «въ душѣ презрѣвъ тревоги стана»,

И шумъ малѣйшій по дубравѣ,
Полетъ синицы, ропотъ водъ
Его бросали въ жаръ и потъ,—

участь, выпадающая многимъ изъ тѣхъ, кто въ юности былъ рыцаремъ и разъѣзжалъ по свѣту!..

А въ образѣ страстнаго, радостнаго Ратмира, въ описаніи тѣхъ чертоговъ, гдѣ его окружили прелестныя гуріи, которыми Пушкинъ, въ своей очаровательной дерзости, замѣнилъ двѣнадцать спящихъ дѣвъ Жуковскаго, уже видны плѣнительныя очертанія «Бахчисарайскаго фонтана», и не могъ онъ, путникъ молодой, не откликнуться на дружное, на тайное, на мирное призванье двѣнадцати прекрасныхъ дѣвъ. И пылкій ханъ прервалъ свою воинственную дорогу для нѣги и страстей, нашелъ свою Капую,—и въ ароматахъ потонули темнокудрявые власы. Изъ четверыхъ рыцарей, отправившихся на поиски золотого руна, золотыхъ кудрей Людмилы, онъ былъ тотъ, кто ради новой красоты, ради женскаго соблазна, забылъ Людмилы плѣнной недавно милыя красы,—и сладострастіе родного ему Востока приняло его на свое упоительное лоно. Потомъ единственный вѣрный и неуклонный искатель идеала, Русланъ встрѣтилъ своего соратника надъ тихоструйною рѣкою, у порога хижины смиренной, уже не воиномъ, а рыбакомъ, около милой и нѣжной подруги. Отъ двѣнадцати Ратмиръ опять перешелъ къ одной, завершилъ обычный циклъ жизни, и теперь онъ—семьянинъ, и онъ утратилъ жажду славы и подвиговъ, забылъ юное безумство и сложилъ свой мечъ и шлемъ тяжелый «въ тѣни хранительныхъ дубровъ» (Ольга Ларина, воплощеніе безмятежной семейственности,

тоже играла «въ тѣни хранительной дубравы»). Счастливый въ своей глуши, мирный отшельникъ и супругъ, уже заплатившій дань и войнѣ, и страсти, Ратмиръ однако душою задумчиво стремится вослѣдъ Руслану, садящемуся на коня,

И думы гордыхъ, юныхъ лѣтъ
Невольной грустью оживляетъ,—

грустью по своей бурной, опасной молодости съ ея героическими тревогами и замыслами, на которые легла теперь сонная пелена осѣдлости и тихаго довольства. Только ли къ Ратмиру относится все это?..

Русланъ садится на своего вѣрнаго коня, неутомимый всадникъ жизни. Онъ одинъ до конца борется за Людмилу. Дни бѣгутъ; желтѣютъ нивы,—но, не боясь дыханія зимы, онъ отважно продолжаетъ свой путь на дальній сѣверъ, въ снѣга, и каждый день одолѣваетъ новыя преграды: богатырей, великановъ и вѣдьмъ, и еще другія препятствія-соблазны, то, предъ чѣмъ не устоялъ Ратмиръ,— молодыхъ русалокъ, въ лунныя ночи манящихъ его на свои вѣтви; но онъ ихъ не видитъ, имъ не внемлетъ, —

Одна Людмила всюду съ нимъ.

Русланъ былъ вѣренъ любви и чести, и за это, за свой жизненный подвигъ, онъ и получилъ свой высокій вѣнецъ — любимую женщину.

Въ стремленіи къ ней онъ встрѣчаетъ долину смерти—запустѣлые слѣды прежнихъ боевъ, оружіе, перевитое мирнымъ плющемъ, все это кладбище богатырей, поле, усѣянное мертвыми костями. Правда, изъ этого мертваго посѣва скоро возродились воины для новыхъ битвъ и для новыхъ костей—въ сраженіи Руслана съ печенѣгами, когда бранный лугъ покрылся въ одно мгновеніе холмомъ тѣлъ кровавыхъ, когда

Неукротимыя дружины
Волнуясь хлынули съ равнины,
. . . . . .
Сошлись—и заварился бой;
Почуя смерть, взыграли кони,
Пошли стучать мечи о брони,
Со свистомъ туча стрѣлъ взвилась;
Равнина кровью залилась,

Стремглавъ наѣздники помчались;
Дружины конныя смѣшались;
Сомкнутой, дружною стѣной
Тамъ рубится со строемъ строй,
Со всадникомъ тамъ пѣшій бьется;
Тамъ конь испуганный несется;
Тамъ русскій палъ, тамъ печенѣгъ,
Тамъ клики битвы, тамъ побѣгъ...,—

картина, изъ которой впослѣдствіи выросъ еще болѣе страшный и разительный Полтавскій бой (Пушкинъ вообще любилъ живописать битву). Но пока поле молчитъ, и на богатыря наводитъ оно грустныя думы, опасеніе собственной судьбы. Руслана удручаютъ безмолвіе и пустынность, невозмутимая тишина—тамъ, гдѣ прежде былъ такой шумъ, такая жизнь и топотъ борзыхъ коней.

Зачѣмъ же, поле, смолкло ты
И поросло травой забвенья?
Временъ отъ вѣчной темноты,
Быть можетъ, нѣтъ и мнѣ спасенья!
Быть можетъ, на холмѣ нѣмомъ
Поставятъ тихій гробъ Руслановъ,
И струны громкія баяновъ
Не будутъ говорить о немъ!

Бойцу нуженъ пѣвецъ; гибнетъ богатырь безъ баяна. Но Русланъ, томимый гнетомъ тишины, только и боявшійся въ мірѣ, что безмолвія, холма нѣмого, гроба тихаго,—Русланъ себѣ нашелъ баяна, громкія струны Пушкина, который спасъ его и себя временъ отъ вѣчной темноты...

Такъ подъ цвѣтами и красками, и звуками таятся въ этой поэмѣ важныя и вѣчныя мысли. Она—достойное преддверіе къ храму Пушкина. Критиковъ поэта, какъ извѣстно, задѣвали грубые элементы «Руслана и Людмилы»: эта голова, и пощечина, и русланово: «я ѣду-ѣду не свищу», и чихнувшее эхо. Но мы теперь все беремъ у Пушкина, какъ онъ все даетъ: и реализмъ, и романтику,—напримѣръ, кошмарный сонъ Руслана или эти волнующіе, жуткіе стихи:

Луна чуть свѣтитъ надъ горою;
Объяты рощи темнотою;
Долина въ мертвой тишинѣ,
Измѣнникъ ѣдетъ на конѣ.

Для насъ важно въ пушкинскомъ описаніи многихъ перипетій жизни соотвѣтствующее имъ столь же многообразное проникновеніе въ самыя различныя сущности, переходъ отъ быта къ сверхъестественности,—напримѣръ, къ этой четѣ духовъ, которая

съ начала міра
Безмолвная на лонѣ мира
Дремучій берегъ стережетъ,

или къ тому, какъ Черноморъ при видѣ умирающей головы «не смѣлъ дышать, не шевелился и чернокнижнымъ языкомъ усердно демонамъ молился»: потрясаетъ эта черная месса и этотъ неземной, испуганный земнымъ явленіемъ, смертью брата. Для насъ цѣнно и важно все въ этой искрящейся сказкѣ: и ея объективное значеніе, и то, чѣмъ она предсказываетъ будущаго Пушкина, даже его внѣшнюю манеру, хотя бы его отступленія, которыя самъ поэтъ могъ бы объяснить тѣмъ, что онъ—«влюбленный говорунъ»...

Когда онъ, великій говорунъ, разсказалъ эти дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой, и поэма его вышла въ столицѣ, зажигая надъ нимъ первые лучи неугасимой славы, самъ онъ видѣлъ предъ собою Кавказа гордыя главы и «питался чувствами нѣмыми». Онъ думалъ тогда, что ему, поэту, навсегда суждено остаться нѣмымъ. «Огнь поэзіи погасъ». Къ счастью для себя и Россіи, Пушкинъ ошибся, и не только не скрылась отъ него навѣкъ богиня тихихъ пѣснопѣній, но еще ближе осѣнила его и нашептала ему столько пѣсенъ, и тѣ самыя гордыя главы Кавказа, на которыя онъ любовался, исторгли изъ его души новыя творенія и между ними эти «стихи его сердца» — *Кавказскаго Плѣнника.* Разумѣется, Пушкинъ не могъ онѣмѣть,—вдохновенная лира, живой инструментъ, «звуковъ и смятенья полный». И вотъ послышались новые звуки изъ его пѣвучихъ устъ.

Кавказскій Плѣнникъ.

Плѣнникъ, въ поэмѣ, сравнительно слабой, начинаетъ собою чреду тѣхъ пушкинскихъ героевъ, которые—отчасти въ угоду и подражаніе Байрону—во всемъ разочаровались, «жизни молодой утратили сладострастье» и тоскующими тѣнями проходили по свѣту, безъ надежды, радостей и желаній, безвременно увядшіе, внутренне опустошенные. Но глубоко-замѣчательно, что именно въ этомъ своемъ качествѣ, т.-е. какъ разочарованные, какъ омертвѣлые, они

Пушкину не удались. Счастливая неудача! Самый живой изъ поэтовъ и людей, онъ поневолѣ вкладывалъ въ нихъ—и въ Плѣнника, и въ Алеко, и въ Онѣгина—страсть и жизнь, поддерживалъ и усиливалъ ихъ погасавшій нравственный огонь. Пушкинъ органически не сумѣлъ изобразить такой непостижимой для него психологической нелѣпицы, какъ мертвая душа. Его поражало это противорѣчивое сочетаніе, и животворящій, способный воскрешать, а не мертвить, онъ не могъ бы подняться до печальной высоты Печорина или доктора Вернера. Являлся къ нему демонъ холода и скептицизма, но въ сердцѣ его не находилъ себѣ прочнаго убѣжища. И это такъ характерно, что Чаадаевъ упрекалъ поэта за Плѣнника, справедливо считая героя «недостаточно blasé». Не въ силахъ и не въ обычаѣ Пушкина было притворяться и отнимать у своихъ созданій то, безъ чего онъ не понималъ самой жизни.

Изъ байроновскаго пресыщенія и разочарованія Пушкину родственны и понятны были только изнеможеніе отъ культуры, тоска по родинѣ-природѣ и благоговѣніе передъ священной свободой, передъ ея пѣснями и гордымъ идоломъ. Въ «Братьяхъ-разбойникахъ» мы читаемъ это символическое:

Мнѣ душно здѣсь... я въ лѣсъ хочу...
. . . . . .
Душа рвалась къ лѣсамъ и волѣ,
Алкала воздуха полей.

И въ свѣтской тѣснотѣ, въ омутѣ города, было душно Татьянѣ, и она мечтой стремилась къ жизни полевой, въ деревню, къ бѣднымъ поселянамъ, и всей душою былъ преданъ деревнѣ самъ Пушкинъ. Вотъ и Кавказскій плѣнникъ тоже—«отступникъ свѣта, другъ природы».

Въ этой поэтической формулѣ, въ этомъ исчерпывающемъ противопоставленіи естественности и культуры, слышится не только отзвукъ извѣстной эпохи, отраженіе байроновскихъ или шатобріановскихъ мотивовъ, но дана и черта обще-психологическая: борьба въ человѣкѣ его двухъ началъ, его статики и динамики,—борьба, которая элементарнѣе и осязательнѣе всего сказывается въ антитезѣ деревни и города, простоты и утонченности. И такъ наглядно, живописно, колоритно изобразилъ въ «Кавказскомъ плѣнникѣ» Пушкинъ эту разницу между искусственностью столицы, изъ которой принесъ свои воспоминанія герой, и наивной первобытностью горцевъ. Въ соотвѣтственныхъ стихахъ, вопреки мнѣнію самого Пушкина, развертывается не одна этнографія: она здѣсь не случайна,

она необходимо и знаменательно совпадаетъ съ психологіей. Усталую душу европейца оттѣняютъ души чеченцевъ,—свѣжія, страстныя, сильныя, и въ сравненіи съ его блѣдной фигурой такъ ярки эти вѣчные всадники и стрѣлки со своей неутомимой жаждой брани и жаждой опасностей, которая таится въ каждомъ вольномъ сердцѣ, подъ каждой буркой, зловѣщая для того казака, задумавшагося о тихомъ Донѣ и красныхъ дѣвицахъ, кому посылаетъ Пушкинъ свой лирическій кличъ и привѣтъ. Недосягаемая для Плѣнника суровая простота нравовъ и забавъ, жизнь какъ сплошная война, горячіе ключи страстей, бьющіе въ каждой горской груди,—все это было для пришельца изъ культуры великой новостью, и потому европеецъ все вниманіе отдавалъ чудному народу и его наблюдалъ,—былъ именно его наблюдателемъ, а не участникомъ этого повышеннаго и кипучаго существованія. Правда, въ одномъ отношеніи Плѣнникъ (какъ и другіе разочарованные) былъ сродни своимъ властителямъ: онъ былъ, какъ и они, отваженъ и храбръ, онъ былъ въ этомъ смыслѣ чеченецъ среди чеченцевъ; недаромъ они дивились безпечной смѣлости его и шопотомъ между собой своей добычею гордились; нить человѣческаго родства была все-таки проведена между этими далекими представителями разныхъ странъ и разной психологіи, и въ отвагѣ Плѣнника проявлялась его, въ другихъ отношеніяхъ утерянная, связь съ природой. А игры горцевъ, т.-е. ихъ жизнь (потому что она вся была игра) происходили именно на фонѣ самой природы, самой стихіи, которую Плѣнникъ лишь теперь увидѣлъ лицомъ къ лицу. Какъ впослѣдствіи Оленинъ въ «Казакахъ» Толстого, онъ былъ пораженъ горами, гордостью природы.

Вперялъ онъ неподвижный взоръ
На отдаленныя громады
Сѣдыхъ, румяныхъ, синихъ горъ.
Великолѣпныя картины!

Горы—«престолы вѣчные снѣговъ», и на нихъ царилъ пушкинскій герой. Тучи дымились у его ногъ,—«Кавказъ подо мною». Въ этой космической обстановкѣ, гдѣ слышалась перекличка орловъ и сверкали молніи, Плѣнникъ, недосягаемый грозою, ощущалъ себя живою частью мірового цѣлаго, живою каплей въ океанѣ естества. И здѣсь должно было произойти его опрощеніе не только въ бытѣ, но и въ духѣ.

Но дальше въ изображеніи Плѣнника начинается у Пушкина какая-то двойственность и противорѣчіе. Кто же онъ, герой? Если въ его душѣ хладъ печальный, если онъ погубилъ свое увядшее

сердце страстями и живетъ теперь безъ упованья, безъ желаній; если въ мечтахъ любви нашелъ онъ безумный сонъ, то какъ же онъ могъ любить ту первую, ту невѣдомую и далекую, которая не любила его и ради которой онъ самъ разбилъ дѣтское сердце черкешенки? Гдѣ же холодъ, презрѣніе и «преждевременная старость души», когда онъ не забылъ, когда чувство его осталось такъ неизмѣнно, такъ пламенно и памятливо? Ради постоянства своей любви къ одной, онъ не отвѣтилъ любовью другой. Черкешенка погибла не отъ того, что онъ былъ безочарованъ и безстрастенъ, а отъ того, что онъ страстно любилъ другую. Онѣгинъ же отвергъ Татьяну не потому, чтобы онъ любилъ другую,—онъ никого не любилъ. Татьянѣ не къ кому было ревновать. Вѣдь одно дѣло—живая мука несчастной, нераздѣленной любви, и другое дѣло—совсѣмъ безлюбовное, пустое сердце. Итакъ, что же, онъ живъ или мертвъ, Кавказскій плѣнникъ? На это мы должны отвѣтить такъ: Пушкинъ задумалъ его мертвымъ, но онъ вышелъ у него живымъ.

Только на время замерла его жизнь, и къ ней призвала его женщина. Плѣнникъ культуры, онъ отъ горской дѣвушки получилъ и свободу. На его ногахъ были цѣпи, и дважды слышится это страшное въ своей многозначительности: онъ—рабъ. Когда уснули вершины Кавказа, черкешенка явилась ему какъ свѣтлое сновидѣніе, въ романтическомъ сіяніи луны, и тихою рукою поднесла ему кумысъ прохладный и сказала ему свое женское, свое оживляющее слово: живи. И плѣнникъ ожилъ. Потомъ она скажетъ ему: бѣги,—подаритъ ему свободу, потому что она сама—внутренне свободная, живая носительница природы и правды. Близко родственная Земфирѣ и Татьянѣ, непосредственное дитя своей матери-земли, она—воплощеніе природы, и потому для европейца она была сначала нѣмой и молчаливой, смотрѣла на него съ участіемъ нѣмымъ и разговоръ вела съ нимъ только очей и знаковъ. Но потомъ она стала его жадной, нетерпѣливой памяти ввѣрять языкъ своей страны и пѣсни Грузіи счастливой,—тѣ пѣсни природы, отъ которыхъ молодѣетъ сердце старцевъ. Просвѣтительница полюбила своего ученика, свободная—плѣннаго, спасительница—спасеннаго. Она, дѣвственная, вся первая, нравственно-свѣжая («впервые дѣвственной душой она любила, знала счастье»),—она открыла ему свое чувство. У Пушкина всегда начинаетъ женщина. Земфира въ свой таборъ на ночь зазвала Алеко, Татьяна пишетъ Онѣгину. Женщина не стыдится, не стѣсняется своей любви, и она откровенна. Природа не притворяется. И вотъ черкешенка, какъ Татьяна, говоритъ тому, кого она полюбила:

Непостижимой, чудной силой
Къ тебѣ я вся привлечена,
Люблю тебя, невольникъ милый,
Душа тобой упоена...

Но Плѣнникъ, хотя и принялъ ея объятія, жестоко сказалъ ей, что въ этихъ объятіяхъ онъ мыслитъ о другой и видитъ образъ вѣчно-милый, и обнимаетъ тайный призракъ. Онъ не хотѣлъ утѣшительно обмануть любящую дѣвушку, хотя бы изъ жалости умолчать о своей любви къ другой. Онъ сдѣлалъ свое печальное признаніе не изъ благородства, а изъ эгоизма. И въ этомъ мужскомъ эгоизмѣ онъ зашелъ такъ далеко, что просилъ черкешенку пожалѣть *его*, такъ какъ скорбна его участь,—

И гасну я, какъ пламень дымный,
Забытый средь пустыхъ долинъ.

Мы уже видѣли, что образъ Плѣнника у Пушкина не выдержанъ, и только потому съ мотивомъ нераздѣленной любви къ той, европейской, оставшейся въ столицѣ, переплетается у героя совсѣмъ другой мотивъ о томъ, что онъ вообще отвыкъ отъ сладострастья, для нѣжныхъ чувствъ окаменѣлъ, что душа у него безчувственна и уста мертвы. На самомъ дѣлѣ онъ отвергаетъ не жизнь вообще, не любовь вообще: онъ отвергаетъ настоящее во имя прошлаго.

Вѣрно лишь то, что, дѣйствительно, только мертвыми устами можно говорить своей любовницѣ, нравственно отвергаемой, эти развязныя утѣшенія:

Не долго женскую любовь
Печалитъ хладная разлука—
Пройдетъ любовь, настанетъ скука,
Красавица полюбитъ вновь.

То же предсказывалъ и Онѣгинъ Татьянѣ. И мы знаемъ, какъ оба они глубоко ошиблись, близорукіе, неспособные понять единство и цѣльность женскаго сердца.

Послѣ тяжкаго объясненія между Плѣнникомъ и черкешенкой, они разстались въ безмолвіи, и съ тѣхъ поръ, конечно, не приходила къ нему дѣвушка, и онъ бродилъ одинъ окрестъ аула и еще болѣе жаждалъ свободы, мечталъ о побѣгѣ, о разрѣшеніи своихъ цѣпей. И вотъ, опять въ лунную ночь, когда елени дремали надъ водами, когда умолкнулъ поздній крикъ орловъ, явилась къ нему на послѣднее свиданіе чернокудрая черкешенка («и черной падаютъ волной ея власы на грудь и плечи») и дала ему желан-

ную свободу. «Бѣги!». Она отпустила его къ другой,—найди ее, люби ее; она подавила свою ревность (и раньше она самоотверженно говорила про свою соперницу: «твоя *прекрасная* подруга»), она возродила его. Онъ устремился къ ней «воскресшимъ сердцемъ», потому что отъ прикосновенія свободы, женской освобожденности, воскресла его душа. А черкешенка, какъ новая Бѣдная Лиза, утопила себя въ тѣхъ самыхъ водахъ, которыя онъ переплывалъ. Отъ ея красоты и молодости, и ласки остался, на мгновеніе, только струистый кругъ въ водахъ, плеснувшихъ при лунѣ.

Плѣнникъ освобожденъ. Для чего? Какъ Эрастъ изъ той же «Бѣдной Лизы», внеся смятеніе и смерть въ простую душу, разбивъ чужое сердце, оскорбивъ природу, онъ, освобожденный, но самъ не свободный, вернулся къ своей культурѣ, откуда бѣжалъ (зачѣмъ же было и бѣжать?), и гостепріимно встрѣтили его сторожевые казаки,—тамъ, гдѣ сверкали русскіе штыки.

И очень характерно, что эпилогъ поэмы представляетъ собою восхваленіе именно этихъ штыковъ. Жестокіе и жесткіе стихи эпилога могъ бы написать самъ Кавказскій Плѣнникъ, и это показываетъ, какъ внутренне-далекъ онъ былъ отъ Кавказа, отъ черкешенки, отъ людей природы и свободы. Имъ предсказывалъ онъ даже «казнь» отъ русскихъ рукъ,—имъ, пылавшимъ любовью къ дикой вольности. Извѣстно, что кн. Вяземскій сурово отозвался о заключеніи поэмы. «Мнѣ жаль, что Пушкинъ окровавилъ послѣдніе стихи своей повѣсти. Что за герой Котляревскій, Ермоловъ? Что тутъ хорошаго, что онъ *какъ черная зараза губилъ, ничтожилъ племена*... Отъ такой славы кровь стынетъ въ жилахъ и волосы дыбомъ становятся. Если мы просвѣщали бы племена, то было бы что воспѣть. Поэзія не союзница палачей». Надо замѣтить, что у Пушкина вообще часто слышатся жестокіе боевые мотивы и непріятная похвальба воинственной силой; поэтизація сраженія способна была даже въ немъ заглушать струны человѣчныя.

Да, эпилогъ еще яснѣе показываетъ, что трудно отрѣшиться отъ грѣховъ культуры. Плѣнникъ остался въ плѣну...

Галубъ.

Если въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ» все выдержано въ тонахъ очень общихъ, въ чертахъ сплошныхъ, и психологія Кавказа дана какъ нѣчто единое и цѣльное, какъ однородная первобытность, то въ «Галубѣ», написанномъ болѣе зрѣлой рукой, передъ нами выступаютъ очертанія индивидуализованныя и тонкія, не слитное человѣческое племя, а своеобразные оттѣнки отдѣльныхъ лицъ.

Въ «Плѣнникѣ» и еще въ «Цыганахъ», гдѣ не отличаются другъ отъ друга цыганъ старый и молодой, схема жизней и душъ упрощена, между тѣмъ какъ въ сложномъ «Галубѣ» уже значительна разница между обоими сыновьями старика и между нимъ и Тазитомъ. Возникновеніе этой разницы находится въ органической связи съ той проблемой осѣдлости и бродяжничества, тоски по родинѣ и тоски по чужбинѣ, которая всегда занимала Пушкина. Дѣло въ томъ, что и Кавказъ, въ нравственномъ смыслѣ этого слова, т.-е. первобытность и скитальчество, тоже имѣютъ различныя степени. Тазитъ больше кавказецъ, чѣмъ Галубъ; въ немъ больше природы и подвижности, чѣмъ въ его отцѣ. Дикость постоянная сродни осѣдлости, и длительная богема превращается въ буржуазность. Культура наложила на Галуба свои тѣни. Онъ еще мститель, еще боецъ; но корыстный и косный, онъ шашкой добываетъ злата, и, можетъ быть, послѣднему скоро уступитъ его булатъ; онъ мечтаетъ объ армянскихъ товарахъ, о томъ, чтобы

въ набѣгахъ отбивать
Коней съ ногайскими быками
И съ боя взятыми рабами
Суда въ Анапѣ нагружать.

Если Алеко презрѣлъ оковы просвѣщенья, если всѣ отступники свѣта и друзья природы, истинные кавказцы, пребываютъ въ стихійномъ невѣжествѣ и наивности, то Галубу, прикрѣпившемуся и привыкшему, надобенъ уже «плодъ наукъ». Вообще, онъ требуетъ дѣла и презираетъ созерцаніе.

Между тѣмъ его сынъ Тазитъ—созерцатель. Онъ ничего не дѣлаетъ. На него сѣтуетъ отецъ, что

Онъ только знаетъ безъ трудовъ
Внимать волнамъ, глядѣть на звѣзды,

какъ тотъ бедуинъ, который забылъ наѣзды для цвѣтныхъ шатровъ и поетъ, считая звѣзды, про дѣла отцовъ. Задумчивый Тазитъ не трудится, потому что онъ—поэтъ. Его святая лѣнь права. Она только неблагоразумна, такъ какъ природа разсчитана не на нашу лѣнь, а на наше прилежаніе, и дополняется людской работой и заботой. Но по существу лѣнь такъ естественна, и человѣкъ созданъ для игры. И вотъ играетъ Терекъ, и играетъ духомъ Тазитъ, молчаливый мечтатель, чужой среди родимаго аула, братъ Татьяны, которая тоже въ семьѣ своей родной казалась дѣвочкой чужой, которая тоже была дика, печальна, молчалива, какъ лань лѣсная боязлива. Братъ этой лани, юный человѣческій олень, онъ

любитъ скользить по крутымъ скаламъ и ползти тропой кремнистой, и отецъ въ своихъ проклятіяхъ сулитъ ему, что онъ будетъ бѣжать, тоскуя безотрадно, именно какъ раненый олень. Храня прежнюю дикость, чужой на родинѣ и родной на чужбинѣ, онъ цѣлый день печально бродитъ одинъ въ горахъ и молчитъ. Онъ слушаетъ бурю и Терекъ, онъ смотритъ на природу. И онъ грезитъ, уставя свои очи въ даль,—въ эту заманчивую даль, которая плѣняетъ его скитальческій духъ. Правда, когда онъ полюбитъ, онъ будетъ трудиться. Любовь прогонитъ лѣнь. И можно вѣрить ему, когда онъ говоритъ отцу своей возлюбленной:

Я бѣденъ,—но могучъ и молодъ,
Мнѣ трудъ легокъ. Я удалю
Отъ нашей сакли тощій голодъ.

Но, можетъ быть, тогда перестанетъ онъ и быть какъ бродячій олень; можетъ быть, тогда кончится его скитальчество и тоска по чужбинѣ, онъ найдетъ свою родину и сдѣлается осѣдлымъ, какъ Галубъ, и если не родному отцу, то отцу своей подруги будетъ онъ сынъ и другъ, послушный, преданный и нѣжный? Не всякому ли путнику духа грозитъ когда-нибудь тихая пристань?..

Судя по бумагамъ Пушкина, можно думать, что завершеніе драмы Тазита должно было быть въ христіанствѣ, что юноша, отвергнутый отцомъ своимъ и отцомъ возлюбленной, долженъ былъ уйти въ монастырь. За такой финалъ говоритъ и то, что Тазитъ не былъ кровожаденъ, жестокъ и мстителенъ и какъ разъ на этой почвѣ произошло его трагическое столкновеніе съ Галубомъ, которому и сынъ нуженъ былъ какъ могучій мститель обидъ и въ душѣ котораго вообще такою красной и кровавой нитью вилась необузданная мстительность,—черта, впослѣдствіи многообразно и сильно развитая Лермонтовымъ.

Но было бы неправильно душевное христіанство Тазита, его кротость, считать въ немъ главной и преобладающей особенностью. Здѣсь характерно не оно или не только оно. Здѣсь существенна его своевольная мечтательность, его несвязанныя думы, его младые сны. Это не послушникъ, а художникъ. Это носитель не моральнаго міросозерцанія, а красоты; какъ мы уже видѣли, онъ—безпечный, неосѣдлый, беззаботный, и только женщина, только кавказская орлица, могла бы побудить этого орла взять на себя трудъ и постоянство. Недаромъ въ такой многозначительной и красивой повторенности звучатъ эти выдѣляющіе стихи о Тазитѣ и его избранницѣ:

Но между юношей—одинъ
. . . . . .
Но между дѣвами—одна...

И дѣва одна страстно полюбила отверженнаго юношу,—

И отвѣчая, не глядѣла,
И разгоралась какъ заря.

Кромѣ этой мысли о томъ, что нельзя уравновѣсить и гармонизировать въ человѣкѣ его осѣдлость и скитальчество, его центростремительную и центробѣжную силы, въ «Галубѣ» Пушкинъ намѣтилъ и другую глубокую идею: незамѣнимость сына сыномъ. Дѣти не повторяются. У каждаго можетъ быть только одно дитя, и только одинъ сынъ—истинный, настоящій. Галубъ наказанъ за то, что себя, своей сущности, онъ искалъ не въ одномъ, а въ двухъ. Не успѣлъ онъ похоронить старшаго сына, не успѣли долины каменистой достигнуть тихіе волы (какъ простъ и необходимъ здѣсь этотъ исчерпывающій эпитетъ *тихіе*, какъ онъ опредѣлителенъ въ своей обыкновенности!), почти не успѣла еще тѣнь могилы хладной принять блѣднаго и нѣмого юношу, рукой завистника убитаго вблизи развалинъ Татартуба,—какъ привели старику другого сына, и Галубъ обнялъ ласково его. Но какое-то мистическое начало, которое продолжаетъ насъ, нашу дѣйствительную сердцевину, только въ одномъ отпрыскѣ и для котораго хвастливая множественность нашего потомства, непонятная, призрачная и ненужная, является лишь выраженіемъ нашей ненасытности, нашей жажды себя размножать, себя накоплять, нашей родительской запасливой корыстности,—это начало мстителю Галубу отомстило тѣмъ, что второго, мнимаго, сына его, невозможное повтореніе, сдѣлало для него чѣмъ-то далекимъ и другимъ, и проклиная чужака принужденъ былъ крикнуть ему старикъ: ты мнѣ не сынъ. Страшное возмездіе таится въ этихъ словахъ,—возмездіе за то, что послѣ смерти перваго сына, Галубъ нашелъ второго и «печаль заснула въ душѣ Галуба»: никогда не должна засыпать въ душѣ отца память и печаль о сынѣ. И если, осуществляя проклятіе старика, мертвый братъ сядетъ на плечи Тазиту окровавленной кошкой и къ безднѣ будетъ гнать его нещадно, то этимъ мертвый братъ будетъ мстить брату живому не за то, что тотъ не наказалъ его убійцу, а за то, что онъ вытѣснилъ его изъ отцовскаго сердца,—его, единственнаго законнаго наслѣдника отцовской любви и державы.

У Галуба, значитъ, умерло два сына, дѣйствительный и казавшійся, и пережилъ онъ вторую смерть; и когда онъ проклялъ Та-

зита,—нравственно осиротѣлый, безнадежно одинокій, отецъ бездѣтный, онъ убилъ и себя, и потому онъ

на земь легъ и очи
Закрылъ и такъ лежалъ до ночи.

Великая и горестно-обидная потеря для русской литературы—то, что «Галубъ» не оконченъ. Въ пушкинской коронѣ это одинъ изъ чистѣйшихъ алмазовъ. Глубина мыслей выражена стихами, которые льются полнозвучной восточной музыкой и такъ убѣдительны въ своей колоритной художественности, что порою кажется, будто здѣсь не только обычное для Пушкина проникновеніе въ чужую психологію, но и собственная его душа. Онъ не въ сторонѣ, онъ не смотритъ какъ этнографъ на похоронную процессію чеченцевъ,—онъ самъ человѣчески участвуетъ въ ней. Иначе какъ же бы онъ, не то что нашелъ соотвѣтственныя слова, не то что описалъ, а понялъ, внутренне понялъ, и эту унылую пѣсню муллы, и печальную саклю, и скорбный вой гостей, и то, что мятутся спутанные кони, встревоженные, удивленные, внемля шумъ не боевой, и то, что адехи слѣдуютъ сурово, смиряя молча пылъ коней? И если бы онъ самъ на эти мгновенія не переродился, не сталъ горцемъ и «гостемъ Магомета», то развѣ сумѣлъ бы онъ такъ выразить всю философію и всю имъ раздѣленную вѣру погребальнаго обряда, сказать эти чеканные стихи:

И съ нимъ кладутъ снарядъ воинскій:
Неразряженную пищаль,
Колчанъ и лукъ, кинжалъ грузинскій,
И шашки крестовую сталь,
Чтобы крѣпка была могила,
Гдѣ мертвый ляжетъ почивать,
Чтобъ могъ на зовъ онъ Азраила
Исправнымъ воиномъ возстать?

Впрочемъ, это уже не стихи: это—міросозерцаніе и молитва.

Цыганы.

Тема здѣсь опять—противопоставленіе культуры и природы. Этнографическій элементъ, какъ и въ «Кавказскомъ плѣнникѣ», не является чѣмъ-то случайнымъ и внѣшнимъ: онъ внутренне и необходимо связанъ съ идеей поэмы; опять этнографія знаменательно совпала съ психологіей. Вѣдь цыганы—воплощенное скитальчество, и въ каждомъ человѣкѣ есть цыганское начало, душевная богема.

На примѣрѣ, на колоритной иллюстраціи ихъ народа она только можетъ быть показана съ особенной яркостью. И на фонѣ табора такъ выдѣляется усталый пришлецъ изъ города, городомъ разочарованный и принесшій сюда, въ это пестрое бродяжничество, свои осѣдлыя привычки и преступленія.

Цыганы кочуютъ шумною толпою. Разсѣивая вечернюю тьму и тишину своими огнями и пѣснями, они безпечны и счастливы. Ихъ бѣдность перестаетъ быть горемъ, потому что она—бродящая и вольная; гдѣ свобода, тамъ нѣтъ бѣдности. Беззаботные, лѣнивые, не прикованные къ мѣсту, эти люди безъ вещей, эти прирожденные кочевники міра сами гостепріимны и оттого повсюду находятъ жилище себѣ; и почти каждая ночь на новомъ полѣ раскидываетъ надъ ихъ шатрами свой гостепріимный шатеръ. Безъ связей и слѣдовъ, какъ лермонтовскія облака, они бродятъ по свѣту и не чувствуютъ нужды въ осѣдлости. Имъ непонятна тоска изгнѣженнаго Овидія, который проливалъ горькія слезы, воспоминая свой дальный градъ, ради родины не хотѣлъ примириться съ чужбиной и завѣщалъ перенести на югъ свои тоскующія по югу кости. Это—существа безъ привычки. Ни къ чему не прикрѣпленные, безъ тоски по родинѣ, одну чужбину мѣняющіе на другую, они въ своей внутренней свободѣ принимаютъ и понимаютъ жизнь какъ безпорядокъ. Они образуютъ собою, на своихъ мимолетныхъ стоянкахъ, какое-то цвѣтное пятно и вѣчный шумъ, нестройное сплетеніе криковъ и звуковъ, которые уловилъ и перечислилъ Пушкинъ.

И пѣсни женъ, и крикъ дѣтей,
И звонъ походной наковальни,
Крикъ, шумъ, цыганскіе припѣвы,
Медвѣдя ревъ, его цѣпей
Нетерпѣливое бряцанье
. . . . . .
Волынки говоръ, скрипъ телѣгъ:

все это—дикая музыка жизни, но зато въ ней нѣтъ того, что жизни противоположно: нѣтъ смерти. Все живо посреди степей, все «живо-непокойно», все «чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ» и мертвыхъ нашихъ душъ. Нѣтъ остановки, нѣтъ окончанія и окоченѣнія, и это племя разнообразія такъ далеко отъ рабской однообразности нашего городского быта.

Отъ послѣдняго бѣжалъ Алеко. Для него городъ былъ оградой, сплошной тюрьмой. Городъ—измѣнникъ природѣ. Тамъ душно, люди живутъ въ кучахъ, стыдятся естественнаго и принимаютъ при-

творное и искусственное, тамъ продаютъ свободу и просятъ, просятъ цѣпей: не внѣшніе, а внутренніе рабы.

Алеко ушелъ отъ нихъ, и про него сказала Земфира: «онъ хочетъ быть какъ мы цыганомъ». Но мало хотѣть быть цыганомъ: не каждому дано это внутреннее цыганство, не для каждаго доступны тѣ неозабоченныя высоты, на которыхъ бродятъ «вольные жители міра». И въ мирную богему, въ тихую природу, Алеко, подобно другимъ перебѣжчикамъ культуры, внесъ смятеніе и смерть.

Шумные цыганы жили внутренне-тихо; Пушкинъ любилъ ихъ какъ «*смиренной* вольности дѣтей»,—въ противоположность буйной свободѣ, дикой природѣ чеченцевъ, и подъ ихъ издранными шатрами таились самыя благородныя и нѣжныя человѣческія чувства. Луна освѣщаетъ мирно спящій таборъ, и только одинъ старикъ не спитъ: его молоденькая дочь пошла гулять въ пустынномъ полѣ; и однимъ штрихомъ, простымъ и трогательнымъ въ своей прозаичности (впрочемъ, исчезнувшей отъ пушкинскаго прикосновенія), очерчена его отцовская любовь:

Земфиры нѣтъ какъ нѣтъ, и стынетъ
Убогій ужинъ старика.

Но вотъ пришла Земфира, и она, женщина, зазвала юношу, привела его въ свой шалашъ, на ночь, на вольный бракъ.

Около цыганки захотѣлъ Алеко быть цыганомъ; онъ опростился въ бытѣ, но душу его томила тайная грусть. Какъ идеалъ, ему грезилась та Божья птичка, которая не знаетъ ни заботы, ни труда. Онъ думалъ, что сумѣетъ всю жизнь прожить безъ долголѣтняго надежнаго гнѣзда, которое надо вить хлопотливо; онъ не хотѣлъ осѣдлости. Ему вездѣ была дорога, вездѣ ночлегъ. Но благословенная беззаботность перелетной птицы, которая ни къ чему не привыкаетъ, легко мѣняетъ сушу на синее море, близкія страны на дальныя, домъ на чужбину, для которой всякая весна и всякій теплый край является одинаково дорогою родиной,—эта чарующая подвижность и свобода сердца, это вниманіе къ гласу одного только Бога было то, чего не осилилъ Алеко. Когда прошло два лѣта, то оказалось, что онъ, раньше ни къ чему не привыкавшій, безслѣдный, сталъ внутренне-осѣдлымъ, пересталъ быть цыганомъ. И это не потому, что въ немъ проснулись дремавшія страсти (вѣдь страсти играли и Земфирой), а потому, что онъ опростился только въ бытѣ, но не въ духѣ. Онъ водилъ медвѣдя, но не избылъ въ себѣ горожанина. Очевидно, культуру нельзя сбросить съ себя какъ одежду; глубоко проникаетъ въ сердце и помыслы ея отравленное зерно. Оттого и произошло

столкновеніе двухъ свободъ: меньшей, Алеко, и большей, Земфиры. «Не измѣнись, мой нѣжный другъ»! молилъ онъ Земфиру, боясь перемѣны; но она была именно воплощенная перемѣна и, какъ вольная луна, все освѣщала собою только мимоходомъ:

Заглянетъ въ облако любое,
Его такъ пышно озаритъ,
И вотъ ужъ перешла въ другое,
И то недолго посѣтитъ.

Алеко не зналъ, и старикъ-цыганъ поучалъ его, что нельзя остановить луну въ небесахъ и нельзя сердцу юной дѣвы, ему, этой вѣчной подвижности, сказать: люби одно, не измѣнись. Лунѣ и сердцу нѣтъ указа и нѣтъ устали. Консервативная, центростремительная сила Алеко встрѣтила центробѣжную силу Земфиры. Алеко остановился, привыкъ,—Земфира же продолжала быть черноокой цыганкой, непривыкающей, продолжала свой прихотливый и безпечный бѣгъ по жизни. «Мнѣ скучно, сердце воли проситъ»,—такъ сказала она своему отцу, и то же словами пѣсни «Старый мужъ, грозный мужъ» откровенно сказала она своему любовнику. Она осталась честной въ самой невѣрности,—измѣнившаяся, но не измѣнница.

Такъ поступая, Земфира продолжала традицію своей природы, своего племени, своей матери. Повторяются человѣческія положенія, и все уже было когда-то. Игра на чужомъ и родномъ довела Маріулу, мать Земфиры, до того, что когда смѣшались два табора, свой и чужой, она ушла съ чужими:

Они ушли на третью ночь
И, брося маленькую дочь,
Ушла за ними Маріула.

Къ ней простеръ свои любящія руки ея супругъ, но онъ не нашелъ ея на супружескомъ ложѣ: «пропалъ и слѣдъ»,—отъ нея, безслѣдной; Маріула и Земфира больше цыганы, чѣмъ старый цыганъ, слишкомъ помнящій и привязчивый. Нравственно бросила и Земфира своего мужа и дитя, и когда простеръ къ ней ревнивыя руки Алеко, онъ не нашелъ своей подруги. Но въ немъ измѣной Земфиры былъ оскорбленъ не только ревнующій любовникъ, но и собственникъ. Его осѣдлость, его нравственная неподвижность и отсутствіе внутренней свободы сказались именно въ томъ, что онъ называетъ измѣнницу *неблагодарной*: онъ отъ женщины требуетъ благодарности. У него нѣтъ великодушія. Онъ говоритъ старику, что не откажется отъ своихъ правъ. Онъ думаетъ, будто есть права на сердце, на чувства, на души. Онъ—крѣпостникъ, онъ—владѣ-

лецъ душъ; онъ, вѣрно, пришелъ изъ крѣпостной Россіи. Въ самой мстительности его есть нѣчто правовое, юридическое: это не только стихійный порывъ необузданнаго духа.

И вотъ онъ совершилъ свою месть, лжецыганъ, и жестоко отплатилъ за гостепріимство пріютившимъ его кочевникамъ. Кругомъ было тихо и темно, когда онъ, не найдя Земфиры, съ бурей въ душѣ, покинулъ свое одинокое, осиротѣвшее ложе. Зловѣщій слѣдъ по росѣ приводитъ его, нетерпѣливаго, за дальные курганы. На краю дороги бѣлѣетъ могила — страшный символъ, предсказаніе новыхъ, уже близкихъ смертей, которыя несетъ въ своей рукѣ ужасный Алеко. У чужой могилы, которая сейчасъ станетъ ихъ собственной, сошлись любовники—Земфира и молодой цыганъ, и видны ихъ близкія тѣни, и слышенъ Алеко ихъ шопотъ «надъ обезславленной могилой». Около смерти устроили они свою любовь. Могила готовитъ имъ свое возмездіе. И мститель оскорбленной смерти, воздаятель обезславленной могилы, въ зловѣщемъ сарказмѣ говоритъ имъ Алеко:

Не спѣшите оба—
Вамъ хорошо и здѣсь, у гроба,

у гроба чужого, у гроба своего. Земфира думаетъ не о себѣ, Земфира молитъ молодого цыгана бѣжать; но его останавливаетъ Алеко и вонзаетъ въ него ножъ:

Куда, красавецъ молодой?
Лежи!

Ложе любви превратилъ онъ въ ложе смерти, и на него сейчасъ же повергъ и Земфиру; убійствомъ повѣнчалъ онъ своего соперника со своей любовницей. Но прежде чѣмъ убилъ онъ ее своимъ ножемъ, она убила его своимъ презрѣніемъ,—она бросила ему въ лицо:

Твои угрозы проклинаю,
Твое убійство презираю,

и когда онъ сказалъ надъ нею: умри жъ и ты!, она отвѣтила ему: умру любя,—т.-е. гаснущими устами произнесла тѣ самыя слова, которыми кончалась ея пѣсня о старомъ мужѣ, о грозномъ мужѣ. Въ жизни и въ смерти осталась она вѣрной пѣснѣ.

Встревоженная толпа цыганъ, робкія дѣти степей, сыны смиренной вольности, не природы-Кавказа, а природы тихой, окружили Алеко, и жены подходили скорбной чередой и въ очи мертвыхъ цѣловали. Старикъ-отецъ (онъ ужъ очень старъ, и ему приходится

на вешнемъ солнцѣ грѣть остывающую кровь), тотъ самый отецъ, который безъ Земфиры не начиналъ когда-то своего убогаго стывшаго ужина,—онъ сидитъ теперь одинъ «въ нѣмомъ бездѣйствіи печали» и глядитъ на убитую дочь. Но не живъ и убійца. Онъ съ камня гробового свалился на траву, молча, безъ словъ и безъ жизни въ потрясенной душѣ. Не хотятъ цыганы жить съ убійцей, да и кто согласится теперь жить съ нимъ, да и съ кѣмъ согласится теперь жить онъ?

Къ смертоубійству и смерти неминуемо пришелъ тотъ, кто хотѣлъ воли для одного себя. Исключительный размахъ индивидуализма превратился въ свою противоположность и перешелъ въ деспотизмъ. Еще разъ не возникла гармонія между природой и культурой.

И цыганы опять шумною толпой подняли свой таборъ съ долины страшнаго ночлега, и спугнутые смертью, оскорбленные чужакомъ, они опять станутъ теперь кочевать по Бессарабіи, бродить по свѣту, и во слѣдъ имъ скажетъ Пушкинъ, что они не найдутъ счастья, что они и въ пустыняхъ не спасутся отъ бѣдъ, такъ какъ судьба и страсти подстерегаютъ вездѣ и всякихъ людей. Но самъ поэтъ въ своей повѣсти о Земфирѣ и Алеко показалъ, что страсть и судьба явились къ цыганамъ, свѣжимъ и свободнымъ,—въ лицѣ утомленнаго отщепенца культуры. Это изъ-за него произошло, что когда удалились для новыхъ скитаній вѣчные скитальцы жизни, въ полѣ роковомъ одна осталась телѣга, убогимъ крытая ковромъ, осталось жилище безъ живущихъ, и даже неизвѣстно, что̀ стало съ ребенкомъ Земфиры, у люльки котораго она пѣла любовь.

Такъ иногда, передъ зимою,
Туманной утренней порою,
Когда подъемлется съ полей
Станица позднихъ журавлей
И съ крикомъ вдаль на югъ несется,
Пронзенный гибельнымъ свинцомъ
Одинъ печально остается,
Повиснувъ раненымъ крыломъ.

Станица позднихъ журавлей улетѣла на югъ, птички Божьи умчались въ теплый край за сине море, но изъ этой станицы Земфира и молодой цыганъ, ея любовникъ и братъ, остались и, недавно бродячіе, они нашли себѣ послѣднюю осѣдлость, непоколебимую и нетревожимую осѣдлость смерти. И тихо и пусто тамъ, около этой неподвижной телѣги,—тамъ, гдѣ вчера еще было такое движеніе и краски, и жизнь.

Цыганы ушли. За ихъ лѣнивыми толпами, долго твердя нѣжное имя милой Маріулы, когда-то любилъ бродить и Пушкинъ,— но и въ немъ самомъ подвижность уступила осѣдлости, и онъ, какъ Алеко, не могъ до конца остаться цыганомъ. Онъ ужъ не провожаетъ сіи шатры, а мимо себя пропустивъ безпечныхъ странниковъ, напутствуетъ ихъ своими, всегда прекрасными словами:

Вы уйдете, но за вами
Не пойдетъ ужъ вашъ поэтъ.
Онъ бродящіе ночлеги
И проказы старины
Позабылъ для сельской нѣги
И домашней тишины.

Внутреннее цыганство и его пестрый шумъ рано или поздно замѣняется этой, для многихъ привлекательной, домашней тишиной. Хорошо ли это или нѣтъ и гдѣ человѣкъ остается самимъ собою и въ своемъ достоинствѣ, на бурномъ ли гребнѣ мѣняющихся жизненныхъ волнъ или въ какой-нибудь постоянной мирной пристани, объ этомъ Пушкинъ много думалъ и много написалъ,—и онъ изобразилъ всю драму человѣка, который не можетъ найти утоленія ни своей тоскѣ по родинѣ, ни своей тоскѣ по чужбинѣ и мечется между этими двумя стихійными силами духа.

Бахчисарайскій фонтанъ.

Фонтану Бахчисарайскаго дворца Пушкинъ принесъ въ даръ не только двѣ розы, но и роскошную поэму, которая дышитъ всею нѣгой Востока и въ самомъ теченіи своихъ стиховъ таитъ упоительный соблазнъ страсти. «Бахчисарайскій фонтанъ», драгоцѣнная восточная ткань нашей литературы, одно изъ многихъ проявленій пушкинскаго божественнаго многообразія, представляетъ собою какой-то пиръ слова, праздникъ звуковъ, необычайный по своей яркости и великолѣпію. Трудно вообразить себѣ большее соотвѣтствіе между содержаніемъ и формой; «сладострастіе стиховъ» такъ необходимо здѣсь, въ этой пѣснѣ о гаремѣ, и нельзя было бы иначе воплотить дыханіе чувственности, которая воздвигла въ Бахчисараѣ свой излюбленный дворецъ и свой грѣшный храмъ.

Но въ эту обитель грѣха вошла святыня; чувственность въ разгарѣ своей оргіи встрѣтила духовное; магометанская луна столкнулась въ своемъ движеніи съ христіанскимъ крестомъ,—и эти двѣ силы въ своемъ вѣковѣчномъ поединкѣ создали трагедію, и новая кровь, новое преступленіе взволновали море человѣческихъ страстей.

Гурія и Мадонна, двѣ стихіи, которыя трепетали въ сердцѣ Пушкина, нашли въ поэмѣ о фонтанѣ свое олицетвореніе и свое признаніе, и обѣ онѣ показаны какъ двѣ неизбывныя, вѣчныя категоріи жизни, обѣ онѣ показаны въ своей различной красотѣ.

Появленіе Мадонны внесло смуту въ духъ и дворецъ Гирея, и грозный ханъ сидитъ, потупя взоръ. Вокругъ него—рабы, которыхъ онъ не удостаиваетъ даже слова, которыхъ онъ удаляетъ однимъ движеніемъ руки нетерпѣливой; но если до сихъ поръ это раболѣпство ничѣмъ не омрачалось и не зналъ повелитель, что такое—неисполненное желаніе, неосуществленная мечта, то нынѣ эта хрупкая дѣвушка съ томно-голубыми очами, его заточница, повергла въ горе царственную душу, предстоитъ хану какъ высшее повелительное начало, и плѣнникомъ своей плѣнницы сдѣлался гордый властелинъ. Это не обычныя узы любви, и польская княжна для Гирея не только нравственно-недосягаемая женщина, которая его не любитъ, не только чистая дѣвственница, вѣчное дитя: она сильна тѣмъ, что пришла изъ другого міра и воплощаетъ другое міросозерцаніе; она побѣждаетъ Гирея этой спокойной мощью духовности, о которой онъ раньше не думалъ. Вселенная была для него какъ одинъ безпредѣльный гинекей, и женщины въ своемъ разнообразіи, во всѣхъ оттѣнкахъ своей красоты, были покорными и радостными служанками его сладострастія, рабынями его прихотливаго ложа. Онъ отвергалъ, теперь его отвергли: уже въ этомъ одномъ великое страданіе и обида; но самое странное и страшное то, что женщина, которая доселѣ была для него только тѣло, существо ласки и презрѣнія,—женщина внезапно явилась носительницей идеала, задумчивой весталкой духа. Въ гаремъ проникло христіанство, и въ видѣ христіанки. Гирей недоумѣваетъ какъ мужчина и какъ мусульманинъ. И оттого —

Примѣты гнѣва и печали
На сумрачномъ его лицѣ.

А кругомъ унылые цвѣты—«жены робкія Гирея», цвѣты, сорванные и унесенные изъ Божьяго сада, для того чтобы претвориться въ достояніе одного. Ревниво укрытыя отъ солнца, отъ міра и людей, онѣ увядаютъ «на лонѣ скуки безотрадной»; онѣ не смѣютъ ни думать, ни желать, и многія, существующія для одного, онѣ напрасно обманываютъ свое сердце и мѣняютъ пышные уборы, заводятъ игры, разговоры. Это не измѣна, это—внѣшняя перемѣна, и она только оттѣняетъ все трагическое однообразіе ихъ жизни. И около нихъ, для того чтобы еще больше чувствовали онѣ себя живыми вещами, безпрестанно ходитъ злой евнухъ. Онъ соблюдаетъ

«порядокъ вѣчный», порядокъ смерти. Безстрастный между страстей и стражъ чужой страсти, онъ равнодушенъ не только тѣломъ, но и душой. Онъ не родитель, не созидатель, онъ не сопричастенъ къ творчеству міра, и онъ—послѣдній. Отъ него не будетъ продолженія. Покорный хану не менѣе, чѣмъ святой заповѣди Корана, безъ воли, безъ любви, безъ вѣры, онъ страшенъ тѣмъ, что уже никакія слезы, никакіе взоры, никакія мольбы не властны надъ его обезображенной и замкнувшейся душою. Въ его прошломъ были женщины, и тогда онъ испыталъ ихъ лукавство,—теперь его больше никто не очаруетъ, никто не обманетъ. И какой-то каменный островъ среди волнующагося людского океана, воплощенная отдѣльность, самый одинокій въ мірѣ, своей извратившейся природой обреченный на эту безмѣрную уединенность, оскорбленіе человѣчества и человѣческій истуканъ, онъ своимъ безчувствіемъ только усиливаетъ ту безстыдную чувственность, которая разлита въ душистомъ воздухѣ гинекея. Гаремъ и евнухъ, это связывается въ одно, это слитный жизненный фактъ; но какія здѣсь соединены противоположности и какая зловѣщая игра въ этомъ сближеніи необузданной страсти и неумолимаго скопчества: оргія женской наготы и равнодушный къ ея чарамъ евнухъ,—тотъ, чьи желанія стали безкрылыми!..

«Вокругъ игриваго фонтана» сидятъ похищенныя у міра жены Гирея, а невольницы этихъ невольницъ оглашаютъ гаремъ пѣсней звонкой и пріятной—пѣснью, въ которой одной Пушкинъ уже выразилъ міросозерцаніе Ислама. Блаженъ факиръ, узрѣвшій Мекку,—но тотъ блаженнѣй, кто лелѣетъ женщину.

И мы узнаемъ о ней,—о Заремѣ, душѣ гинекея. Съ восточной цвѣтистостью, съ какою-то ласкающей нѣгой и полнотою звучности говоритъ Пушкинъ:

. . . . Но гдѣ Зарема?
Звѣзда любви, краса гарема?

Она—краса не только гарема, но и всей земли. Теперь она печальна и блѣдна, теперь она, какъ пальма, смятая грозою, поникла юной головою, потому что эта женщина-пальма не въ силахъ жить безъ жгучаго солнца любви, безъ любви своего Гирея. Но даже печальная и блѣдная, она превыше всѣхъ красотою,—и мы знаемъ, какой восторгъ рождали въ читателяхъ эти стихи, посвященные ея очарованію:

Вокругъ лилейнаго чела
Ты косу дважды обвила;
Твои плѣнительныя очи
Яснѣе дня, чернѣе ночи.

Черныя змѣи косъ, черныя ночи очей, оттѣненныя лилейнымъ челомъ; вся бѣлизна лиліи и вся темь огненной ночи сочетались въ ней и создали изъ нея пламенное существо, царицу грѣха.

И тѣмъ не менѣе Гирей презрѣлъ ея красы и, пылкій, онъ проводитъ одиноко ночи хладные часы—

Съ тѣхъ поръ, какъ польская княжна
Въ его гаремъ заключена.

Панна затмила одалиску. Чернокудрая должна была склониться передъ бѣлокурой, и не могли соперничать черныя очи съ очами томно-голубыми. Страстная душа Гирея познала обаяніе томнаго.

Какъ далеки онѣ одна отъ другой—Зарема и Марія! Княжна цвѣла въ странѣ родной, сѣдой отецъ гордился ею и звалъ отрадою своею, подобно тому какъ это было и съ другой Маріей:

Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей

(у Пушкина такъ часто мы слышимъ этотъ мотивъ отцовской любви—вспомните, напримѣръ, еще Цыгана и Земфиру, Годунова и Ксенію). Марія, тихая нравомъ, съ арфой въ рукахъ, которой она оживляла домашніе пиры, еще не знала любви и «независимый досугъ» посвящала однѣмъ забавамъ. И вотъ, послѣ набѣга татаръ, когда былъ убитъ ея сѣдой отецъ и въ замкѣ сталъ править скупой наслѣдникъ, безславя когда-то цвѣтущій край, она, такая дѣвственная, такая юная, княжна по крови и по сердцу, попадаетъ въ неволю гарема и тоскуетъ, какъ и другія его обитательницы. Но передъ этимъ цвѣткомъ чистоты никнетъ самый гаремъ, къ ней не приближается евнухъ,

Самъ ханъ боится дѣвы плѣнной
Печальный возмущать покой,

и въ своемъ заточеніи княжна Марія возжигаетъ лампаду передъ ликомъ Дѣвы Пресвятой. Въ гаремѣ—икона, въ гаремѣ—неугасимая лампада. Кругомъ все утопаетъ въ «безумной нѣгѣ», и грѣшная «соблазнительная» природа Тавриды, которая предстала Пушкину «въ блескѣ брачномъ», сама зоветъ къ упоенію страстнаго брака,—а въ дальнемъ отдѣленіи гарема возжена лампада, и

Святыню строгую скрываетъ
Спасенный чудомъ уголокъ.

Ликъ Богоматери и передъ нимъ на колѣняхъ плѣнная княжна,—Марія передъ Маріей.

Наше сердце—гаремъ, и живутъ въ немъ огневыя желанія, и любитъ оно черноокую Зарему, и нужны ему язвительныя лобзанія. Но въ дальнемъ отдѣленіи сердца скрывается она, священная обитель, гдѣ теплится наша лампада, гдѣ осѣняютъ насъ не множество картинъ, а только одна Мадонна,—и молитвенно созерцаетъ ее властелинъ сердечнаго гарема. Мадонна въ гаремѣ, святое среди грѣшнаго: это въ сильной или въ слабой мѣрѣ извѣстно каждому.

Въ одну изъ ночей въ гаремѣ мужского сердца происходитъ роковое столкновеніе Мадонны и Гуріи. Слушаетъ евнухъ, и кажется ему, что вездѣ шорохъ, крики, шептанье,—но все молчитъ, и только тревожатъ его, безлюбовнаго, соловьи, неразлучные съ милой розой. Для евнуха соловей, это—шумъ. Еще бьютъ сладкозвучные фонтаны изъ мраморной темницы. Живая струя фонтана, свободная стихія, заключена въ темницу, и это не утѣшеніе, что темница—мраморная. «Послушныя» двери заперты, безопасенъ гаремъ, и все полно тишины, страсти и тайны—«подъ вліяніемъ луны» (какъ свѣжо здѣсь слово: *вліяніе*; какъ явственно, что здѣсь оно употреблено въ своемъ первичномъ, въ своемъ непосредственномъ смыслѣ!).

Подъ роскошнымъ пологомъ крымской ночи совершается трагедія. Зарема входитъ въ комнату Маріи. Но передъ Маріей, передъ Мадонной все трепещетъ, и потому одалиска касается «вѣрнаго» замка рукою дрожащей. И видитъ Зарема кроткій ликъ Божественной Маріи, и кроткое лицо Маріи земной, и надъ обѣими—крестъ, любви символъ священный.

Грузинка, все въ душѣ твоей
Родное что-то пробудило,
Все звуками забытыхъ дней
Невнятно вдругъ заговорило.

Нѣтъ, не потому Зарема почувствовала въ кельѣ Маріи нѣчто родное и забытое, что Зарема была грузинка и вѣра ея матери была вѣрой Маріи,—не потому только: главное и глубокое основаніе здѣсь то, что «всякая душа—христіанка», и видъ спящей подъ крестомъ юной княжны взволновалъ въ сердцѣ Заремы то психологическое христіанство, которое есть у каждаго. Безмятеженъ и безгрѣшенъ сонъ Маріи, но уснула она въ слезахъ, и кажется, что это не она покоится на дѣвственномъ ложѣ (а въ другихъ покояхъ нѣтъ ложа дѣвственнаго и всюду брачность гинекея): это ангелъ, сонный ангелъ, проливаетъ слезы о бѣдной плѣнницѣ гарема.

Безмятежный сонъ Маріи прерываетъ Зарема и разсказываетъ свою горестную повѣсть. Она всю жизнь ожидала своего хана,

прирожденная гурія, наложница тѣломъ и душою; она «первыхъ опытовъ любви послушнымъ сердцемъ ожидала». И сбылись ея женскія грезы и надежды: ее позвалъ Гирей. Но съ тѣхъ поръ какъ явилась Марія, Гирей забылъ Зарему, и душа его «преступной думой омрачилась»—думой измѣны. То, что Гирея плѣнило святое, дѣвственное, что восточную душу его озарила Мадонна, что луна для него поблекла въ сіяніи лампады, теплящейся передъ иконой, это для Заремы—преступленіе. Она молитъ Марію, она грозитъ ей, но не мольбы и не угрозы поражаютъ Марію, она чувствуетъ другое,—она испытываетъ позоръ.

Невинной дѣвѣ непонятенъ
Языкъ мучительныхъ страстей;
Но голосъ ихъ ей смутно внятенъ,
Онъ страненъ, онъ ужасенъ ей.

Ее пробудили отъ дѣвственнаго сна, и къ ужасу своему она узнала, что влюбленная душа Гирея не только угрожаетъ ея дѣвственности, но что она, Марія, уже не дѣвственна, такъ какъ она живетъ въ страстныхъ чувствахъ и помыслахъ мужчины, такъ какъ ревнуетъ къ ней одалиска, изъ-за нея отлученная отъ ханскаго ложа. Какой позоръ! Зарему въ страстныхъ мечтаніяхъ Гирея замѣнила Марія, и тѣ лобзанія хана, которыя горятъ на Заремѣ, не чувствуетъ ли ихъ Марія на себѣ? Она, съ томно-голубыми очами, со звуками арфы въ душѣ, она, Марія передъ Маріей, богомолица Мадонны, она побѣдительно соперничаетъ съ одалиской, и властелинъ гарема мысленно владѣетъ ею. Проститъ ли это ей Мадонна, и не погаснетъ ли лампада предъ ликомъ Дѣвы Пресвятой?

Только теперь земная дѣва предъ ликомъ Дѣвы Пресвятой поняла, что она въ гаремѣ. «Что дѣлать ей въ пустынѣ міра?» Что дѣлать ей, Психеѣ, въ мірѣ-гаремѣ? О, если бы «кончиной ускоренной» кто-нибудь пресѣкъ ея унылые дни!

Что дѣлать ей въ пустынѣ міра?
Ужъ ей пора, Марію ждутъ,
И въ небеса на лоно мира
Родной улыбкою зовутъ.

И вотъ изъ гарема отлетѣла Марія въ небеса. «Нѣтъ Маріи нѣжной». На арфѣ міра порвалась ея печальная струна: «мгновенно сирота почила». Убила ли ее дѣйствительно Зарема кинжаломъ—кто знаетъ? Но безспорно то, что Зарема убила ее, робкую Психею, своимъ посѣщеніемъ, своимъ признаніемъ. Его подслушалъ

евнухъ, стражъ чужой страсти, и донесъ Гирею, и Зарема «гарема стражами нѣмыми», страшными въ своемъ безмолвіи палачами, въ пучину водъ опущена. Какъ много сладострастія потеряла земля, какъ много чаръ и грѣха невозвратимо опущено въ пучину водъ!

О Заремѣ говоритъ все сохранившееся сладострастіе въ мірѣ, весь трепетъ любовной страсти и любовнаго страданія; и каждый гаремъ, и каждое гаремное сердце является ея нетлѣннымъ памятникомъ.

Но все томное и голубое въ мірѣ, и небесная лазурь, и всѣ арфы жизни поютъ Психею, славятъ Марію, польскую панну. И Гирей, предавшій презрѣнію свой гаремъ, все еще плѣненный своей почившей плѣнницей, воздвигнулъ въ ея память мраморный фонтанъ, завѣщалъ ему свои слезы, и вотъ съ тѣхъ поръ

Журчитъ во мраморѣ вода
И каплетъ хладными слезами,
Не умолкая никогда:
Такъ плачетъ мать во дни печали
О сынѣ павшемъ на войнѣ.

Неизсякаемая скорбь человѣческаго сердца, вѣчный фонтанъ печали!

Проходятъ «ѣдкіе годы», сглаживаютъ всякія надписи, но онѣ безсильны передъ надписями Пушкина. Среди послѣднихъ во всей пышности Востока горятъ и сверкаютъ стихи «Бахчисарайскаго фонтана». Сладки они, какъ «шербетъ ароматный»; нѣжатъ они сладострастной красотою, и слышится въ нихъ то самое «дыханіе розъ», которое влекло поэта къ невольному забвенію, опьяняло его самого на лонѣ крымской природы. Онъ вопрошалъ фонтанъ любви, фонтанъ печальный, и по дворцу летучей тѣнью мелькала дѣва передъ нимъ.

Чью тѣнь, о други, видѣлъ я?

Чью тѣнь видѣлъ Пушкинъ—Маріи или Заремы? Чистая душа Души-Психеи являлась ему, или, ревностью дыша, носилась Гурія въ чарахъ женскаго грѣха? Чью бы тѣнь ни видѣлъ Пушкинъ, когда онъ въ своей памяти возсоздавалъ Бахчисарая въ забвеньи дремлющій дворецъ, несомнѣнно, что ему одинаково близки были и земная красота Заремы, и небесная томность Маріи. Все вмѣщала его богатая душа, и хотя послѣдняя ея молитва была обращена къ Мадоннѣ, чистѣйшей прелести чистѣйшему образцу, но властны и сильны были въ немъ и жгучіе мотивы страсти, ея паѳосъ, ея крымская плѣнительность. Да, плѣнительны для него эти пышныя

розы, которыя, вѣроятно, любила вплетать въ свои черныя косы Зарема, эти струи и тополя, этотъ янтарь и яхонтъ винограда (какія краски!), краса его долины злачной, отрада осени златой, продолговатый и прозрачный, какъ персты дѣвы молодой,—какъ персты той, къ кому, въ кругооборотѣ своей души, вернулся Пушкинъ,—этой нѣжной панны Маріи, о которой плачетъ Гирей, о которой неутѣшно плачетъ Бахчисарайскій фонтанъ...

Полтава.

Міровая поэзія лишилась бы одного изъ своихъ прекрасныхъ образовъ, и безъ покорной дочери, безъ Антигоны, въ черной слѣпотѣ блуждалъ бы несчастный Эдипъ, если бы Антигона имѣла тогда возлюбленнаго.

Отецъ всегда уступаетъ любовнику, Брабанціо—Отелло, Кочу-

Для возстановленія смысла необходимо до чтенія исправить опечатку на стран. 54-ой: тамъ, въ 20-ой строкѣ снизу, вмѣсто *онъ* надо читать *они*.

Малороссіи создала въ ней свои лучшій цвѣтъ, свою первую *ма*русю, и за это съ любовью и лаской внималъ ея пѣснямъ богатый и славный Кочубей. Но, проходящая черезъ всю поэму, моральность и степенность поэта, пріобщившагося къ отцовской психологіи, указываетъ намъ, что не только мгновенныя чары красоты привлекали къ Маріи жениховъ изъ Украйны и Россіи,—«вездѣ прославилась она дѣвицей скромной и разумной». Она скромна и пуглива, трепетная лань, и лань напоминаютъ ея движенія; и когда она, бродя въ сѣняхъ, трепещетъ и рѣшенья ждетъ, то она похожа на серну, которая уходитъ подъ утесъ, орла послыша тяжкій лётъ; и когда, уже безумная, она встрѣчается съ Мазепой, то убѣгаетъ отъ него легче серны молодой. И вотъ она, граціозная лань, такая робкая, такая пугливая и трепетная, она, дѣвица скромная и разумная, совершаетъ стыдъ и безуміе, ей пріятенъ ея позоръ,—

Ты имъ въ безумномъ упоеньѣ
Какъ цѣломудріемъ горда,
Ты прелесть нѣжную стыда
Въ своемъ утратила паденьѣ.

Безмѣрна обида отца, и тѣмъ горше его недоумѣнье, что стыдливая дочь его сдѣлалась безстыдной ради старика, и ее, голубку чистую, заклевалъ коршунъ старый,—не ушла серна отъ орла.

Здѣсь Пушкинъ опять встрѣтилъ на своей дорогѣ загадку любви, которой всѣ возрасты покорны. Онъ знаетъ, что сердцу дѣвы нѣтъ закона, и потому его не удивляетъ любовь Маріи къ Мазепѣ. Впослѣдствіи въ «Анджело» онъ скажетъ намъ:

Друзья! повѣрите ль, чтобъ мрачное чело,
Угрюмой, злой души печальное зерцало,
Желанья женскія навѣки привязало
И нѣжной красотѣ понравиться могло?
Не чудно ли? Но такъ.

Страстныя мечты украинки тяготѣли къ сѣдой головѣ, и рубцы чела, борозды, проводимыя жизнью, серебряная старость очаровали ее. Это, несомнѣнно, произошло оттого, что Мазепа былъ воинъ и былъ поэтъ. Въ темницѣ Кочубей вспоминалъ пѣсни дочери своей, а пѣла она только тѣ пѣсни, которыя слагалъ Мазепа, когда онъ бѣденъ былъ и малъ. Она пѣвца полюбила за пѣсни. Съ тѣхъ поръ какъ были онѣ сложены, прошло много лѣтъ, и Мазепа сталъ не только богатъ и могучъ, но и старъ. Однако, въ пѣсняхъ его сохранилась его молодость; пѣсни не старѣютъ. Поэту вѣчная подобаетъ юность. И вотъ Марія чувствовала и пѣвучими устами своими передавала молодость Мазепы, безсмертную жизнь его стиховъ,—что же могли значить для нея власы сѣдые? И могла ли она видѣть старымъ того, чью въ звукахъ сохранившуюся молодость она повторила и усилила молодостью своей? Кромѣ того, Мазепа былъ и воинъ. А воинъ тоже никогда не старъ. Въ бою всѣ молоды. И Марія, полюбившая конный строй и бранный звонъ литавръ, и клики предъ бунчукомъ и булавой малороссійскаго владыки,—Марія нашла въ Мазепѣ чудное сочетаніе двухъ вѣчныхъ юностей — поэта и воина. Оттого за столомъ, когда бесѣда ликовала, она тихо слушала только гетмана, какъ Дездемона слушала Отелло. Черный шекспировскій вождь, «угль, пылающій огнемъ», зажегъ сердце золотой венеціанки тѣмъ, что онъ разсказывалъ. Не можетъ не склониться женщина передъ разсказчикомъ и воиномъ,—поэту и полководцу отдалась Дездемона, отдалась Марія.

Обѣ онѣ пошли на встрѣчу горя. Марія, когда-то знавшая только домъ, только родную кровлю, «пріютъ укромный, гдѣ мирный ангелъ обиталъ», теперь обрекла себя на вѣчное скитальчество. Послѣ отказа Мазепѣ въ ея рукѣ, отецъ и мать искали ей сердце успокоить, боязнь и горе разогнать, тревогу смутныхъ думъ

устроить,—но успокоить и устроить влюбленное сердце можетъ только любовь. И Марія ушла отъ родныхъ,—«ея свѣтлица опустѣла». Черезъ недолгое время ушла она отъ Мазепы,—«свѣтлица тихая пуста». Ей не было пристанища, бѣдной скиталицѣ, и не свѣтлица, а темница былъ для нея міръ. Она не могла безъ трагедіи рѣшить рокового вопроса, который предложилъ ей Мазепа: «отецъ или супругъ тебѣ дороже?» Мучительно всегда тому, кто долженъ выбирать; но Маріи надо было произвести особенно страшный женскій выборъ, и она, невѣдомо для себя, своимъ выборомъ казнила своего отца. Она убила того, кого любила; на родную голову опустила она сѣкиру, какъ новая Гретхенъ, которая, внѣшнимъ образомъ—нечаянно, внутренне—необходимо, убила свою мать. Кто покидаетъ родительскій домъ и отчей сѣни предпочитаетъ соблазномъ постланное ложе, та неминуемо дѣлаетъ и дальнѣйшій шагъ и отца или мать убиваетъ.

Дочь, казнившая отца, не выдержала потрясенія,—но, можетъ быть, не столько отъ своего дѣла, сколько отъ разочарованія въ любовникѣ. Онъ, видно, мало ее любилъ, если не хотѣлъ или не могъ пощадить ея дочерняго чувства. Въ тотъ мигъ, когда Марія потеряла отца, она потеряла и Мазепу, и потомъ съ ея безумныхъ устъ такъ мудро и символически прозвучали эти слова къ нему:

Я принимала за другого
Тебя, старикъ. Оставь меня.
Твой взоръ насмѣшливъ и ужасенъ,
Ты безобразенъ. Онъ прекрасенъ.
Въ его глазахъ блеститъ любовь,
Въ его рѣчахъ такая нѣга;
Его усы бѣлѣе снѣга,
А на твоихъ засохла кровь.

Она помѣшалась не потому, что увидѣла помостъ, на которомъ только что казнили ея отца и, можетъ быть, его отрубленную голову, а потому, что увидѣла настоящаго Мазепу. Въ это мгновеніе она замѣтила, что онъ старъ, и вотъ она называетъ его—старикъ. Въ это мгновеніе передъ нею спала пелена, и вмѣсто красоты явилось безобразіе, вмѣсто нѣги и любви—безпредѣльная жестокость, вмѣсто бѣлоснѣжныхъ сѣдинъ—запекшаяся кровь.

Своими чудными очами
Тебя старикъ заворожилъ,
Своими тихими рѣчами
Въ тебѣ онъ совѣсть усыпилъ,—

теперь ворожба исчезла, совѣсть проснулась, ослѣпленный умъ прозрѣлъ и, не выдержавъ самого себя, перешелъ въ безуміе. Оно началось уже въ тотъ моментъ, какъ на зарѣ Марію отъ сладкой дремоты пробудило чужое прикосновеніе. Маріи показалось, что это Мазепа (даже мать приняла она за Мазепу), и она протянула съ томной нѣгой свои ищущія руки,—но слышится голосъ не любовника, а матери, и говоритъ онъ страшное, неожиданное, потрясающее. Не бредъ ли это? «Какой отецъ? какая казнь?... Иль ума лишилась я, иль это грезы?»... Нѣтъ, это не бредъ, не грезы: это только дѣйствительность, которая внезапно рухнула на замечтавшееся сердце и раздавила его и умъ.

Правда, и раньше блаженство Маріи затмевала одна печаль: она сквозь слезы воображала отца и мать «въ бездѣтной старости, однихъ» (быть можетъ, всего страшнѣе старость тѣмъ, что она бездѣтна, уже бездѣтна). Но это случалось только порою, и праздникъ ея страсти, кудрявыя сѣдины Мазепы, склоненная къ ней въ колѣни старца гордая глава заслоняли блѣдные образы другихъ стариковъ, заглушали ихъ сиротливыя пени.

Казнь отца и собственное безуміе, все трагическое возмездіе любви, постигли Марію потому, что на своей груди она ласкала змія. Пѣвецъ и воинъ былъ Іуда. Измѣна лежала въ самомъ существѣ его природы. Онъ измѣнилъ другу, царю, въ нѣкоторомъ смыслѣ—возлюбленной. Было ему суждено всегда порывать свои привязанности, уходить отъ прежняго. Замкнутый и непроницаемый, онъ былъ одинокъ, хотѣлъ стоять одинъ передъ грозою и собой довольствовался. Даже рабомъ любви не сталъ онъ и не хочетъ «влачить позорныя оковы». Марія видитъ на немъ «власти знакъ»,—не только ту корону, которую въ глазахъ любовницы носитъ каждый любовникъ («царь души моей» — говоритъ Плѣннику Черкешенка), но и царскій вѣнецъ вообще. Надменный, онъ не будетъ «искать надменнаго привѣта самолюбивой красоты». Передъ всѣми лицемѣрный и притворный, онъ только женъ не будетъ притворствомъ искушать; онъ не удостаиваетъ притворяться передъ ними. Онъ за Марію не бороцся съ Маріей: онъ полюбилъ и взялъ. Ему не пришлось томиться любовной тоскою: не тоскуетъ коршунъ по голубкѣ. Мазепа удовлетворяетъ свои страсти или подавляетъ ихъ, и тогда на ихъ поверхность ложатся думы, и онѣ еще больше скрываютъ роковую бездну его души. Всякая душа—бездна, а двойная душа измѣнника еще и бездна роковая. И Пушкинъ изображаетъ ее въ знаменитой характеристикѣ Мазепы, которая даже среди сжатыхъ и мощныхъ строкъ «Полтавы», въ закаленной стали ея стиховъ, звучитъ особенно неумолимо и безнадежно.

Немногимъ, можетъ быть, извѣстно,
Что духъ его неукротимъ,
Что радъ и честно, и безчестно
Вредить онъ недругамъ своимъ,
Что ни единой онъ обиды
Съ тѣхъ поръ, какъ живъ, не забывалъ,
Что далеко преступны виды
Старикъ надменный простиралъ;
Что онъ не вѣдаетъ святыни,
Что онъ не помнитъ благостыни,
Что онъ не любитъ ничего,
Что кровь готовъ онъ лить какъ воду,
Что презираетъ онъ свободу,
Что нѣтъ отчизны для него.

Эти стихи убиваютъ; это—смертный приговоръ, это—удары молота, которымъ пригвождается Мазепа къ позорному столбу. Здѣсь поэтъ перестаетъ быть только поэтомъ, здѣсь — нѣчто больше и сильнѣе слова. И даже это до такой степени сильно, что самъ Пушкинъ не удержался на своей вершинѣ, на собственной высотѣ, и его дальнѣйшій Мазепа не оправдываетъ этой безпощадно казнящей характеристики: дальше—и колебанія, и совѣсть, и жалость, и это безпричинное волненіе, когда на слабый крикъ, донесшійся до его слуха и совѣсти, онъ другимъ отвѣтствовалъ, крикомъ былыхъ сраженій, въ пылу которыхъ скакалъ онъ рядомъ «и съ нимъ... и съ этимъ Кочубеемъ». Мазепа въ дѣйствіи мягче и мельче, лучше и какъ-то обыкновеннѣе, чѣмъ Мазепа въ характеристикѣ. Мазепа позднѣйшій, не закованный въ эти убійственныя *что*, способенъ раскаиваться и увлекаться, и какъ Марія плѣнилась имъ, такъ онъ, подобно ей, дѣвѣ робкой, увлекся «воинственнымъ бродягой» Карломъ и «бѣглымъ счастіемъ» его побѣдъ.

Поэтъ рисуетъ его какъ человѣка безъ отчизны, хотя во время бѣгства съ Карломъ «страшно взоръ его сверкаетъ, съ роднымъ прощаясь рубежомъ». Не за Малороссію, а за себя, за свои усы сѣдые, заступился «измѣнникъ русскаго царя». Оттого, по мысли Пушкина, Мазепа, ничѣмъ своихъ дѣлъ не освятившій, никакой идеей или вѣрой не проникнутый, становится все мрачнѣе и мрачнѣе (часто прилагается къ нему этотъ эпитетъ), и не въ силахъ онъ заглушить ропотъ сонный и угрызенія змѣиной совѣсти своей, и звѣзды ночи какъ обвинительныя очи за нимъ насмѣшливо глядятъ. Впрочемъ, это не столько совѣсть, сколько любовь. Онъ разбилъ дочернее сердце Маріи и всю ея жизнь, но привыкшій разбивать и убивать, онъ теперь почувствовалъ себя безсильнымъ и

неправымъ, потому что онъ убилъ существо все-таки любимое. И все, что надъ нимъ совершилось, и потерянный Полтавскій бой, и то, что разъ въ годъ анаѳемой донынѣ грозя гремитъ о немъ соборъ,— все это кара за Марію, за то, что не до конца любилъ онъ ее, за то, что любовникъ уступилъ гетману.

И еще потому палъ Мазепа, что въ одну телѣгу онъ впрягъ коня и трепетную лань. Онъ вышелъ изъ своего одиночества; рядомъ съ собою онъ, прирожденно-одинокій, другого, другой, не осилилъ, чужого присутствія въ своей негостепріимной и сумрачной душѣ не претворилъ, и за это—наказанія совѣсти, которая больше поводовъ имѣетъ молчать, когда человѣкъ одинъ, и начинаетъ свое укоряющее дѣло, свое «слово и дѣло», когда ихъ двое.

Страшный своимъ коварствомъ, безмѣрно-лукавый, властитель умовъ и сердецъ, не только мужскихъ, но и женскихъ, Мазепа, однако, «вздрогнулъ» (Мазепа вздрогнувшій, скала, которая вздрогнула), когда узналъ о доносѣ Кочубея. Можетъ быть, безсознательно устрашился Мазепа не врага политическаго, а оскорбленнаго отца. Вѣдь связь частнаго съ общимъ, семьи съ политикой, личнаго съ историческимъ осуществлена въ «Полтавѣ» именно тѣмъ, что Кочубей свою отцовскую обиду отомщаетъ, перенося ее въ исторію, сочетая свою и своей дочери судьбу съ ходомъ европейскихъ событій. Тайный умыселъ Мазепы раскрылся передъ Кочубеемъ,—«взоръ опасный, враждебный взоръ его проникъ» (никто такъ не проницателенъ какъ врагъ). И въ данномъ случаѣ врагъ дѣйствовалъ во многомъ такъ же, какъ и самъ Мазепа. Кочубей тоже свою «предпріимчивую злобу» затаилъ въ сердцѣ и распускаетъ слухъ, что въ безсильной горести устремилъ онъ мысли ко гробу,—Мазепа въ горести притворной говоритъ, что не ему у двери гроба начать ученіе измѣнъ. Правда, далеко въ области притворства Кочубей зайти не могъ, потому что онъ религіозенъ, а Мазепа къ одру своей «сомнительной кончины» кощунственно архипастыря зоветъ,—

И на коварныя сѣдины
Елей таинственный течетъ.

Наканунѣ казни, проводя свой послѣдній жизненный ночлегъ (завѣдомо въ послѣдній разъ ночуетъ онъ въ мірѣ, и, быть можетъ, именно потому такъ тиха, такъ божественно-тиха участливая украинская ночь), Кочубей, горечью и обидой отца доведенный до плахи, еще переживаетъ настроеніе «святой мести»: не погасаетъ въ немъ жгучее пламя ненависти, и съ этимъ пламенемъ въ непрощающей душѣ протягиваетъ онъ руки ко Христу всепрощающему, къ вождю

подъ знаменемъ креста. Страшно умереть, не завѣщая никому вражды къ злодѣю своему. Страшно умереть безъ преемника на своемъ жизненномъ престолѣ. Кому-нибудь надо передать наслѣдіе своей вражды, но нѣтъ наслѣдника: дочь не отомститъ—

Она сама вамъ все разскажетъ,
Сама всѣ клады вамъ укажетъ.

Но на мѣсто казни приближался Кочубей уже съ міромъ, съ небомъ примиренный, могущей вѣрой укрѣпленный, и онъ молился за своихъ враговъ. Есть великая поучительность въ его судьбѣ: не однажды звучитъ въ поэмѣ этотъ мотивъ: «богатъ и славенъ Кочубей»,—и вдругъ отъ богатства и славы, отъ стараго дома, гдѣ онъ родился, переходъ кошмарный и трагическій—къ плахѣ, на эту смертную дорогу, которая, полна людей, шевелится какъ змѣиный хвостъ. По замыслу Пушкина, все это—слѣдствіе того, что прежнюю безмятежную жизнь Кочубей добровольно бросилъ не для Россіи, а для себя; не ревновалъ онъ, какъ Петръ, къ общему добру, а владѣла имъ хотя и законная, но все же личная ненависть. Отчаяніе и оскорбленіе отца, казнимаго дочерью, переплелъ онъ съ клубкомъ исторіи, и за это вмѣшательство частнаго раздавила его поступь общихъ судебъ.

Еще больше Кочубея ненавидитъ Мазепу жена Кочубея. Въ ней старымъ коршуномъ, заклевавшимъ чистую, юную голубку, оскорблена не только мать, но и женщина. И потому она «гнѣва женскаго полна», и нетерпѣливая, торопитъ супруга злобнаго, и въ сущности она является главной виновницей всего, что произошло дальше, и недаромъ это она проникла къ Маріи съ мольбой спасти мужа.

Но есть въ поэмѣ еще одинъ ненавидящій Мазепу (надъ головою послѣдняго сошлись лучи и мечи разной ненависти, придавъ ему трагическій ореолъ и этимъ какъ бы оправдавъ его преступную личность)—его несчастный соперникъ, тотъ безъименный казакъ, который съ младенческихъ годовъ любилъ Марію любовью страстной, любовью невысказанной, потому что отказа бъ онъ не пережилъ,—тотъ казакъ, который при звѣздахъ и при лунѣ везъ доносъ на гетмана-злодѣя и не хотѣлъ отдохнуть ни въ чистомъ полѣ, ни въ дубравѣ, ни при опасной переправѣ: ненависть, какъ и любовь, не можетъ отдыхать. Казакъ любилъ Марію «безмолвно, безнадежно» даже и тогда, когда позоръ Маріинъ огласился. Онъ не могъ слышать имени Мазепы,—«блѣднѣлъ, терзаясь тайно» (не только Маріи, но и никому не говорилъ о своей любви невѣдомый любовникъ). И если всѣ остальные «завидные» женихи, наѣхавшіе къ

Маріи толпою, равнодушно и безъ ревности приняли вѣсть о побѣдѣ Мазепы, то незамѣтный казакъ, изъ ихъ блестящихъ рядовъ когда-то удалившійся сиро и уныло, въ общую вражду къ Іудѣ вплелъ свою безумную ярость, и въ разгарѣ Полтавской битвы, самый ненавидящій, потому что самый любящій, рыцарь Маріи, онъ внесъ въ историческое сраженіе свой особый, свой личный бой, свою иную ненависть (какъ Палѣй внесъ ненависть свою); и на томъ самомъ неутомимомъ конѣ, который везъ его на сѣверъ въ степи необозримой, онъ устремился на Мазепу съ саблею въ рукахъ, но былъ застрѣленъ мушкетомъ Войнаровскаго, и его

потухшій зракъ
Еще грозилъ врагу Россіи;
Былъ мраченъ помертвѣлый ликъ,
И имя нѣжное Маріи
Чуть лепеталъ еще языкъ.

Да, это нѣжное имя, которое прошептали умирающія уста, было услышано Пушкинымъ въ канонадѣ Полтавскаго боя, въ шумѣ историческихъ волненій, и только благодаря этому, создалась самая поэма. Пусть говоритъ она о событіяхъ, записанныхъ на міровыя скрижали, пусть она идеализируетъ войну и въ поэзію претворяетъ исторію, но все это объективное и общее собралось вокругъ женскаго имени, вокругъ романа, и не напрасно каждая изъ трехъ пѣсенъ «Полтавы» кончается образомъ нѣжной и несчастной Маріи.

Въ поразительной энергіи, съ какою описанъ полтавскій бой, въ грохотѣ словъ, передающихъ огненное впечатлѣніе битвы, слышится уже тяжело-звонкое скаканье Мѣднаго Всадника. Неотдѣлимъ отъ Петра его ретивый и смирный конь, гордящійся могущимъ сѣдокомъ,—и вотъ онъ, любимый Пушкинымъ, историческій русскій Кентавръ! Невидимо присутствуя въ «Полтавѣ» съ первыхъ страницъ ея, живой смыслъ той смутной поры, той эпохи, которую она изображаетъ въ чертахъ немногихъ, но такихъ сильныхъ и смѣлыхъ, Петръ Великій, какъ богъ, появляется лично въ третьей пѣснѣ, къ трепету читателей, и своею мощной фигурой осѣняетъ все. Воплощеніе боя, прекрасный и ужасный, онъ въ то же время— и среди вождей спокойныхъ, которые, въ разительномъ противоположеніи тревогѣ и волненію битвы, смотрятъ на нее взглядомъ вдохновенья, движенія ратныя слѣдятъ, предвидятъ гибель и побѣду и въ тишинѣ ведутъ бесѣду. Одинаково сильный и въ спокойномъ совѣтѣ, и въ шумѣ сраженія, Петръ одинъ воздвигаетъ себѣ огромный памятникъ, потому что свою личность онъ отожествилъ съ Россіей, съ бо́льшимъ себя,—между тѣмъ какъ остальные

герои «Полтавы» свою страсть, свое чувство поставили выше всего. Особенно оттѣняетъ Петра, человѣческимъ фономъ служитъ для него отважный Карлъ: Петръ на конѣ, Карлъ въ качалкѣ, и изъ нея, блѣдный, недвижимый, слабымъ маніемъ руки на русскихъ двинулъ онъ полки,—всю эту волнующуюся конницу и тяжкую твердость пѣхоты. «Любовникъ бранной славы», онъ началъ въ Россіи особую традицію, до Наполеона создалъ наполеоновскую легенду, проложивъ кровавый путь «мужу рока»; онъ взметалъ русскія дружины

Какъ вихорь гонитъ прахъ долины
И клонитъ пыльную траву,—

но вихорь жизни взметнулъ его самого, и теперь о немъ, скользившемъ надъ бездной, гласятъ лишь три мелкія углубленія въ землѣ, три мхомъ поросшія ступени.

Такъ все поросло этой мертвой травой забвенья,—все, кромѣ Петра и кромѣ пѣсни. Въ ней осталась и память о той, которая вдохновила Пушкина на его поэму.

Но дочь-преступница... Преданья
Объ ней молчатъ. Ея страданья,
Ея судьба, ея конецъ
Непроницаемою тьмою
Отъ насъ закрыты. Лишь порою
Слѣпой украинскій пѣвецъ,
Когда въ селѣ передъ народомъ
Онъ пѣсни гетмана бренчитъ,
О грѣшной дѣвѣ мимоходомъ
Казачкамъ юнымъ говоритъ.

Всѣ юныя казачки Россіи, всѣ ея дѣвы, эти внимательныя слушательницы пѣсенъ, отъ пѣвцовъ узнали о своей несчастной сестрѣ. Пѣвцу отдавшаяся, она и сохранилась теперь въ сочетаніи съ пѣснями своего любовника, которыя, быть можетъ, ее предчувствовали, ея ожиданіемъ дышали, и онѣ идутъ изъ устъ въ уста, и слѣпые, старые говорятъ о ней, молодой и прекрасной и зоркой, о ея глазахъ, которые когда-то блестѣли черными звѣздами, а потомъ, въ ночь безумной встрѣчи съ Мазепой, сверкали впалые, луной освѣщенные. Слѣпой украинскій пѣвецъ, поучая и предостерегая, говоритъ о ней задумавшимся юнымъ казачкамъ, говоритъ объ ея грѣшной и горькой дѣвичьей долѣ, и о томъ же, еще слаще, еще грустнѣе, еще жалостливѣе говоритъ Пушкинъ,—и слушаютъ, слушаютъ юныя казачки...

Мѣдный Всадникъ.

Неотдѣлимый отъ своего коня, могучій русскій Кентавръ, здѣсь, въ этой поэмѣ, не говоритъ ни слова: онъ только думаетъ и молчитъ. Онъ показанъ до своего дѣла и послѣ него, живой и бронзовый, но всегда одушевленный. И мы узнаемъ, что возстали противъ него двѣ революціи, стихійная и человѣческая, но обѣ онѣ разбили свои мятежныя волны у подножія его памятника.

Петръ Великій оживилъ пустыню и показалъ солнцу то, чего не видѣло само солнце: лѣсъ, который былъ невѣдомъ его лучамъ, запрятаннымъ въ туманѣ. Полный великихъ думъ, онъ поправилъ природу. Но сдѣлалъ онъ это не во имя какихъ-нибудь космическихъ цѣлей, а ради Россіи: ему просто нужно было грозить шведу, причинить зло надменному сосѣду и позвать къ себѣ въ гости всѣ торговые флаги,—Пушкинъ никогда не преувеличиваетъ. Однако это посягательство на природу, ея дерзостная передѣлка, совершенная для Россіи, въ конкретныхъ политическихъ и промышленныхъ интересахъ отдѣльной страны, оправдывается для Петра тѣмъ, что сама природа, заинтересованная въ существованіи и процвѣтаніи Россіи, судила прорубить здѣсь окно въ Европу, и это эгоцентрическое, или, по крайней мѣрѣ, государственное пониманіе міра еще разительнѣе обнаруживаетъ всю безпредѣльность патріотизма, которымъ жилъ и горѣлъ великій царь. И вотъ, тамъ, гдѣ онъ стоялъ, по мановенію его желѣзной руки, раскинулся городъ. Затерянное мѣсто на берегу пустынныхъ волнъ, убѣжище пасынковъ природы, стало центромъ, притянувшимъ къ себѣ толпы кораблей; и этотъ городъ, Петра творенье, полюбилъ родственный Петру Пушкинъ,—недаромъ нашъ знаменитый историкъ Ключевскій сказалъ, что Петръ сдѣлалъ вызовъ Россіи и Россія отвѣтила ему пѣснью Пушкина. Они достойны другъ друга, царь и поэтъ.

Все, чѣмъ тягостенъ

Духъ неволи, стройный видъ,
Городъ пышный, городъ бѣдный,
Сводъ небесъ зелено-блѣдный,
Скука, холодъ и гранитъ,—

все это было понятно и мучительно Пушкину; но своей душой, принимающей, богатой, привольной, онъ впослѣдствіи побѣдилъ эту внѣшнюю неуютность и воспѣлъ задумчивыя ночи Петербурга, и жестокую зиму его, и всю поэзію города.

Неколебимо красуется градъ Петровъ, но была пора, когда побѣжденная природа не выдержала своего плѣна и дала волю сво-

ей враждѣ и тщетной злобѣ. Градъ остался неколебимъ. Только исчезло изъ него нѣсколько человѣческихъ жилищъ и жизней и помѣшался одинъ невысокій умъ; но этотъ безпорядокъ смыли жизненныя воды, и все вошло въ колею, и мимолетное приключеніе исторіи было бы забыто, если бы не участливый и памятливый разсказъ поэта.

Наводненіе, бунтъ стихіи, описано во всѣхъ своихъ моментахъ, и все время Нева предстаетъ намъ какъ живое существо, въ замѣчательныхъ деталяхъ олицетворенія. Всякое возмущеніе—избытокъ жизни. Одѣтая въ гранитъ, заключенная въ тюрьму своей стройной ограды, возмутившаяся рѣка всю ненастную ночь мечется, какъ больной въ своей постелѣ безпокойной. Она рвется къ морю противъ бури, но ей, разъяренной, не подъ силу спорить съ ними. И ей надо выместить на чемъ-нибудь другомъ свою неудачу и злобу. Гнѣвная, бурливая, прогнанная отъ моря, она идетъ обратно, затопляя острова; она котломъ клокочетъ и клубится, она вздувается и рветъ. Но вотъ она увидѣла на своихъ берегахъ любующіяся ея пѣною кучи народа, и она нашла свою жертву и, остервенясь какъ звѣрь, кинулась на городъ: все побѣжало передъ нею, передъ этимъ звѣремъ, вырвавшимся изъ клѣтки, все вдругъ опустѣло.

Въ дальнѣйшемъ развитіи зловѣщей силы Нева, пошедшая на приступъ, остается злой, но отдѣльныя волны ея уже не звѣри, а воры, разбойники, которые лѣзутъ въ окна, бьютъ стекла и грабятъ, грабятъ, разоряя людскія помѣщенія, выбрасывая весь этотъ скарбъ, небрезгливо опустошая

Товаръ запасливой торговли,
Пожитки блѣдной нищеты.

Искусственное раздѣленіе живыхъ отъ мертвыхъ, домовъ отъ могилъ, стерлось, какъ во всякой революціи, и по улицамъ плывутъ гробы съ размытаго кладбища. Грозная вода сноситъ мосты, насмѣшливо мѣняетъ обычный видъ жизни, превращаетъ стогны въ озера, улицы — въ рѣки, и среди нихъ только одинъ печальный островъ—царскій дворецъ.

Но всему есть предѣлъ. Нева насытила свое буйство, утомилась разрушеніемъ и потекла обратно, любуясь картиной своего стихійнаго гнѣва. Не всю добычу взяла она съ собою,—покидала ее «съ небреженіемъ» (правда, эта презрительность рѣки къ добычѣ, ея безкорыстность, не поддержана дальнѣйшимъ сравненіемъ, которое уподобляетъ Неву разбойникамъ, спѣшащимъ домой въ страхѣ погони и только оттого роняющимъ по пути награбленное добро). Нева едва смирилась,—

Но торжествомъ побѣды полны
Еще кипѣли злобно волны,
Какъ бы подъ ними тлѣлъ огонь;
Еще ихъ пѣна покрывала,
И тяжело Нева дышала
Какъ съ битвы прибѣжавшій конь.

Рѣка тяжело дышитъ, запыхавшаяся отъ своего разрушительнаго бѣга. Волны кипятъ, какъ если бы подъ ними тлѣлъ огонь. Вода и огонь, стихіи враждебныя, здѣсь сочетались въ мирѣ и согласіи, для того чтобы совмѣстно погубить хрупкое человѣческое счастье. Именно его опрокинула стихія, но не Петра, виновника ея плѣненности. Когда бушевали волны, когда кругомъ была вода и больше ничего, тогда надъ возмущенною Невою въ неколебимой вышинѣ, до которой не достигаютъ никакіе бунтующіе валы, стоялъ кумиръ на бронзовомъ конѣ, стоялъ съ простертою рукою,—и что̀ ему, всаднику недосягаемой высоты, все это бурленіе, и безсильный ропотъ рѣки, и дѣтскій шумъ мятежнаго кипѣнія—гдѣ-то тамъ, внизу, у подножія его несокрушимой скалы? Онъ не видитъ, онъ не слышитъ, спокойный среди грозы и бури, взнуздавшій коня Россіи, коня самой судьбы.

Онъ вызвалъ революцію, но ею пренебрегъ, ея не замѣтилъ. Зато всю ея трагедію испыталъ на себѣ его подданный, послѣдній изъ его подданныхъ, тотъ бѣдный чиновникъ, который оставилъ намъ только свое имя и вслѣдъ за которымъ явились въ русской литературѣ и Акакій Акакіевичъ, и Макаръ Дѣвушкинъ.

Когда въ канунъ наводненія онъ пришелъ домой и стряхнулъ свою шинель, классическую гоголевскую шинель, раздѣлся, легъ, онъ предался грустнымъ размышленіямъ о своей бѣдности и малости и о томъ, что погода не унималась, что съ Парашей будетъ онъ дня на два, па три разлученъ,—онъ не сознавалъ, что будетъ съ нею разлученъ на всю жизнь и даже яснаго воспоминанія о ней не останется въ его потрясенномъ умѣ (и все это, какъ и другія мѣста поэмы, изложено словами настолько простыми и первыми, настолько соотвѣтствующими элементарной душѣ Евгенія, что вы даже какъ бы не замѣчаете здѣсь риѳмованности стиховъ и готовы принять ихъ за бѣлые).

Съ утра, когда насталъ ужасный блѣдный день, на площади Петровой тамъ,

Гдѣ надъ возвышеннымъ крыльцомъ
Съ поднятой лапой какъ живые
Стоятъ два льва сторожевые,

На звѣрѣ мраморномъ верхомъ
Безъ шляпы, руки сжавъ крестомъ,
Сидитъ недвижный, страшно блѣдный
Евгеній.

Онъ сидитъ въ наполеоновской позѣ, но весь уничтоженный, разбитый, побѣжденный. Онъ боится не за себя; онъ и не слышалъ, какъ подымался жадный валъ, подмывая ему подошвы; онъ не замѣчаетъ дождя и вѣтра, сорвавшаго съ него шляпу, онъ думаетъ о своей невѣстѣ, о своей мечтѣ, о Парашѣ, домъ которой у самаго залива,—ветхій домикъ съ некрашеннымъ заборомъ. Что жъ это: онъ бодрствуетъ или грезитъ? что это: дѣйствительность или сонъ, безумный кошмаръ? И ему, немудрому, такъ далекому отъ философіи, приходитъ на умъ философская мысль, кальдеронова идея, о которой онъ никогда не слыхалъ:

Иль вся наша
И жизнь—ничто, какъ сонъ пустой,
Насмѣшка рока надъ землей?

Несчастье сдѣлало его мыслителемъ.

На площади Петровой ихъ двое: онъ и Петръ. Изъ бушующей воды выступаетъ Евгеній верхомъ на мраморномъ львѣ, съ котораго онъ, какъ околдованный, сойти не можетъ, и изъ этой же воды, гораздо выше, торжествуя надъ нею, грозно поднимается виновникъ его несчастія, Мѣдный Всадникъ, кумиръ на бронзовомъ конѣ. И предѣлъ презрѣнія—этотъ кумиръ обращенъ къ Евгенію спиной:

И обращенъ къ нему спиною,
Въ неколебимой вышинѣ,
Надъ возмущенною Невою
Стоитъ съ простертою рукою
Кумиръ на бронзовомъ конѣ.

Ихъ двое на площади, царь и подданный, и между ними происходитъ какой-то безмолвный поединокъ, и одинъ изъ противниковъ вооруженъ самымъ страшнымъ изъ человѣческихъ оружій—презрѣніемъ. Они встрѣтятся еще разъ, эти странные соперники, и полнымъ порабощеніемъ одного изъ нихъ окончится ихъ молчаливая битва.

Когда сбыла вода, Евгеній съ лихорадочной быстротою воспользовался услугами перевозчика беззаботнаго (беззаботность о собственной жизни—отъ избытка заботъ), и за гривенникъ переплылъ на ту сторону къ Парашѣ. Онъ бѣжитъ знакомой улицей въ мѣста

знакомыя, но на самомъ дѣлѣ онъ ничего не можетъ узнать въ открывшейся предъ нимъ картинѣ опустошенія. Знакомое легко переходитъ въ чуждое. Изнемогая, не помня ничего, Евгеній

Бѣжитъ туда, гдѣ ждетъ его
Судьба съ невѣдомымъ извѣстьемъ,
Какъ съ запечатаннымъ письмомъ.

И вотъ онъ вскрылъ это мистическое запечатанное письмо своей судьбы,—то единственное, то главное письмо изъ многихъ, которое одинъ разъ въ жизни получаетъ каждый. И что онъ прочелъ тамъ!

Не только нѣтъ Параши,—нѣтъ дома, гдѣ она жила. Смыты вещи,—самое пространство, физическое мѣсто, то гнѣздо, гдѣ обитала его и ея душа. Отъ любви, отъ счастья, отъ человѣка, тамъ, гдѣ было такое богатое психическое содержаніе, такая полнота впечатлѣній и чувствъ, не осталось никакого слѣда, никакого намека, не осталось ничего. Это — предѣлъ разрушенія, это — пустота, въ которой тонетъ оцѣпенѣвшая мысль, которой не въ силахъ выдержать человѣкъ, и отвѣтить на это можетъ умъ только безуміемъ.

Евгеній помѣшался, но городъ зажилъ своей обычной жизнью. На слѣдующее утро изъ-за «усталыхъ», много и зловѣще поработавшихъ тучъ, солнце взошло какъ ни въ чемъ не бывало, прикрыло багряницей вчерашнее зло, и въ свои права вступила безсмертная человѣческая пошлость. Для всѣхъ было возрожденіе, только не для бѣднаго безумца. Давно уже прошли ужасы наводненія, но онъ, въ вѣчной галлюцинаціи, все слышалъ «мятежный шумъ Невы и вѣтровъ». Весь внутренній, полный безмолвной думы, онъ не воспринималъ внѣшнихъ впечатлѣній; онъ въ себя принялъ вой вѣтра, и Неву, и нескончаемое наводненіе, потому что для него остановилось время; и для него было безразлично, что злыя дѣти, всегдашніе преслѣдователи сумасшедшихъ, бросали въ него камни и стегали его кучерскія плети: такъ шумно было внутри его, что онъ ничего не слышалъ внѣ себя. И Пушкинъ (въ характерномъ для нашего яснаго поэта, нерѣдкомъ у него трепетѣ передъ безуміемъ) говоритъ, что Евгеній свой несчастный вѣкъ

Влачилъ—ни звѣрь, ни человѣкъ,
Ни то, ни се—ни житель свѣта,
Ни призракъ мертвый...

Но когда совершился кругооборотъ времени и прошелъ почти годъ съ момента великой революціи, и опять дышалъ ненастный вѣтеръ и

мрачный валъ
Плескалъ на пристань, ропща пени
И бьясь о гладкія ступени,
Какъ челобитчикъ у дверей
Ему не внемлющихъ судей

(этотъ валъ, въ своемъ ропотѣ и плесканіи о бездушный, равнодушный гранитъ, воплощаетъ собою все то же еще не затихшее революціонное начало, будущій мятежъ); когда во мракѣ ночи съ унылымъ вѣтромъ перекликался часовой,—тогда въ этой тьмѣ возникла для Евгенія свѣтлая минута, онъ живо вспомнилъ прошлое, и сходство впечатлѣній, ассоціація идей вызвали ассоціацію страданій. И вѣчнаго скитальца безсмыслица его движеній на этотъ разъ разумно привела къ тому мѣсту, гдѣ когда-то начался его поединокъ съ Петромъ. И та же ситуація, тѣ же стихи, и все это неумолимое повтореніе:

На крыльцѣ
Съ подъятой лапой, какъ живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо въ темной вышинѣ,
Надъ огражденною скалою
Кумиръ съ простертою рукою
Сидѣлъ на бронзовомъ конѣ

(здѣсь и дальше не только бронзовый конь, но и бронзовые стихи, высокій художественный чеканъ; «фальконетово произведеніе» нашло себѣ словесное соотвѣтствіе, и воздвигся Петру второй, уже нетлѣнный памятникъ). Тогда Евгеній вздрогнулъ передъ своимъ, его не замѣчающимъ, врагомъ, передъ его мѣдною величавою главою. Онъ, безпокойный, не могъ простить ему этого вѣчнаго, невозмутимаго спокойствія. Вздрогнулъ Евгеній, бывшій Евгеній, не отъ испуга, а отъ ненависти. По примѣру стихій онъ тоже сдѣлался революціонеромъ, и тотъ «мятежный шумъ», который онъ носилъ въ себѣ, заразилъ и претворилъ его робкую, напуганную душу.

Безумный, малый, ничтожный, онъ обошелъ кругомъ подножія Всадника, Россію вздернувшаго на дыбы, кругомъ «державца полуміра». Никогда еще человѣческія крайности не сходились такъ остро и дико. Стѣснилась отъ ненависти къ воплощенію государственнаго духа грудь чиновника, маленькаго обезумѣвшаго служителя этой самой государственности, и онъ съ отуманенными глазами, съ пламенемъ въ сердцѣ, прижавъ къ холодной рѣшеткѣ свое горячее чело, воспаленное чело безумца,

мрачно сталъ
Предъ горделивымъ истуканомъ
И зубы стиснувъ, пальцы сжавъ,
Какъ обуянный силой черной,
„Добро, строитель чудотворный“,
Шепнулъ онъ, злобно задрожавъ:
„Ужо тебѣ!“

О, гнѣвъ безсилія, о, эта злоба, которую можно только шепнуть, о, эти некраснорѣчивыя убогія уста! Какъ много они сказали, какой упрекъ они послали великому строителю, который столько разстроилъ, смялъ, разрушилъ!

Но на этомъ революція подданнаго и кончилась. Евгеній, едва сказавъ, бросился бѣжать, потому что, какъ Лепорелло и Донъ-Жуану, показалось ему, будто статуя сдѣлала движеніе. Лицо грознаго царя, мгновенно гнѣвомъ возгоря, стало тихонько обращаться, и дальше эти пугающіе стихи, бредъ символической галлюцинаціи, то, что вызываетъ ужасъ:

И онъ по площади пустой
Бѣжитъ и слышитъ за собой,
Какъ будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой;
И озаренъ луною блѣдной,
Простерши руку въ вышинѣ,
За нимъ несется Всадникъ Мѣдный
На звонко-скачущемъ конѣ.
И во всю ночь безумецъ бѣдный,
Куда стопы ни обращалъ,
За нимъ повсюду Всадникъ Мѣдный
Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ.

Ощущеніе топота по гулкой площади, потрясеніе мостовой отъ тяжело-звонкаго скаканья мѣдныхъ копытъ—это передано невольнымъ сочетаніемъ соотвѣтственныхъ звуковъ, естественной аллитераціей, и читатель въ содроганіи слышитъ то, что слышалъ безумецъ; но еще сильнѣе дѣйствуетъ на него зрѣлище этой фантастической сцены и этотъ бредъ преслѣдованія, который будетъ мучить дерзнувшаго Евгенія всю его, правда, уже недолгую жизнь,—и въ блѣдномъ озареніи луны все гонится за подданнымъ царь, преслѣдуетъ его настигающій Всадникъ.

Революція стихій и революція человѣка кончилась, и не слышно было съ тѣхъ поръ о грозныхъ наводненіяхъ. Когда проходилъ

Евгеній Петровой площадью, въ его лицѣ изображалось смятенье, онъ прижималъ руку къ сердцу, «какъ бы его смиряя муку», снималъ картузъ передъ Петромъ и, не подымая глазъ, шелъ сторонкой,—сторонился, пѣшій, чтобы дать больше мѣста Всаднику.

Красуется градъ Петровъ и стоитъ неколебимо какъ Россія. Но кто знаетъ, навсегда ли кончены счеты между нимъ и стихіей, между нимъ и человѣческой личностью? Во всякомъ случаѣ, Пушкинъ неизгладимыми буквами своихъ стиховъ написалъ передъ нами это напоминаніе о тяжбѣ царя и подданнаго.

Кентавръ на своемъ историческомъ пути раздавилъ человѣка, великій умъ отраженно создалъ безуміе: можетъ быть, въ этомъ и есть высшая необходимость. Но неустоявшему маленькому уму маленькаго человѣка и его большому сердцу отдалъ поэтъ свой глубокій поклонъ, и, какъ бы могучъ ни представлялся ему Всадникъ, онъ показалъ въ своей поэмѣ, что на томъ конечномъ судѣ, котораго не избѣгнутъ и цари, съ Петра спросится и за Парашу.

Скупой рыцарь.

Въ этой знаменитой драмѣ Пушкинъ проявилъ свое умѣнье не только поэтизировать, но и облагороживать. Онъ прикоснулся къ скупости, и она показала свою философію, свой смыслъ и поэзію,—во всякомъ случаѣ, высоко поднялась надъ тѣми болотистыми низинами, гдѣ возникаетъ ея отвратительный зародышъ. Все, чѣмъ она внушаетъ ужасъ, не сглажено, не прикрыто; но вмѣстѣ съ тѣмъ начертаны также ея оправданія, и рѣшился великій авторъ сочетать ее не съ помѣщикомъ, не съ Плюшкинымъ, какъ это обычно, а съ рыцаремъ. Этотъ неравный бракъ, это соединеніе противоположностей было замысломъ смѣлымъ, трудной психологической задачей, и мы знаемъ, какъ побѣдоносно ее поэтъ рѣшилъ, какъ онъ художественно доказалъ, что, въ прихотливой и противорѣчивой природѣ человѣка съ его внутренней беззаконностью, губительное черное пятно скряжничества возможно и на солнцѣ рыцарскаго духа. Вѣдь его старый баронъ не пересталъ быть рыцаремъ и въ дрожащей рукѣ неизмѣнно держалъ свой испытанный мечъ, и хотѣлъ войны, чтобы «кряхтя влѣзть снова на коня», и готовъ былъ кровью, даже кровью сына, смыть полученную обиду. Кромѣ того, скупость послужила Пушкину не только сама по себѣ, но и какъ фонъ, на которомъ написана болѣе общая, необходимая, болѣе существенная картина: вражда отцовъ и дѣтей, взаимная ненависть рожденныхъ и родителей, вѣчное отцеубійство и дѣтоубійство,—всѣ эти будущія темы Достоевскаго, все это страшное и противо-

рѣчивое, что обыкновенно прячется подъ тихимъ покрываломъ иллюзорной семейственности, но на самомъ дѣлѣ живетъ въ ея истинныхъ нѣдрахъ какою-то зловѣщей и мистической жизнью.

Альберъ, сердце котораго унижено бѣдностью, страдаетъ не только отъ лишеній, но и отъ того, что онъ, къ своему ужасу, становится похожъ на своего отца. Онъ зараженъ его скупостью, онъ оскверняетъ свое рыцарство соображеніями корысти и на турнирѣ бѣшено сразилъ Делоржа только потому, что отомщалъ свой «поврежденный шлемъ». Старый баронъ тянетъ своего сына въ свою тину, и Альберъ задыхается. Есть между ними и другое сходство: отецъ убиваетъ сына, заставляя его терпѣть стыдъ горькой бѣдности, отказывая ему не только въ необходимомъ (съ этимъ бы еще можно было помириться), но и въ роскоши рыцарскаго самолюбія, въ атласѣ и бархатѣ за герцогскимъ столомъ; однако и сынъ убиваетъ отца, торопя его смерть въ своихъ желаніяхъ и помыслахъ и кощунственнымъ Amen сопровождая моленіе Жида: «Пошли вамъ Богъ скорѣй наслѣдство». И когда этотъ самый Жидъ претворилъ его тайныя пожеланія въ громкую реальность, договорилъ его мысль, сказалъ его шопотъ, т.-е. пошелъ ему навстрѣчу и предложилъ ему отравить отца, тогда, въ голосѣ ростовщика явственно услышавъ собственный голосъ, онъ ужаснулся предъ самимъ собою, понялъ, какъ онъ близокъ къ убійству, и бросился искать управы (на отца или на себя?) у герцога. Но было уже поздно, и въ палатѣ герцога Альберъ убилъ своего отца. Въ самомъ дѣлѣ, это онъ своимъ неожиданнымъ появленіемъ и кинутой отцу обидой довелъ старика до потрясенія и смерти. Скупой рыцарь оказался правъ: сынъ хотѣлъ его убить и убилъ. Даже и въ томъ былъ рыцарь правъ, что сынъ покушался его обокрасть,—вѣдь жадно зарился Альберъ на отцовское наслѣдіе. Вообще, въ царство булата здѣсь разрушительно вторглось пагубное золото, и даже едва удержался юноша отъ того, чтобы не взять пахнущіе ядомъ червонцы еврея; но золото было только предлогомъ для тяжбы между отцомъ и сыномъ,—тяжбы до того серьезной и трагической, что отецъ бросилъ сыну перчатку («первый даръ отца») и хотѣлъ пролить его кровь. Такъ убивали они другъ друга, отецъ и сынъ.

Для нихъ обоихъ широкій міръ былъ тѣсенъ,—кто-нибудь долженъ былъ уступить. И уступилъ отецъ послѣ жестокой борьбы. Его орудіемъ была его скупость. Онъ оградилъ себя ею отъ всего молодого, ею обезпечивалъ свое одиночество. Сѣдой скупецъ, онъ дышитъ презрѣніемъ къ юности. Для него одинаково жалки и молодой повѣса, который ждетъ свиданья съ женщиной лукавой, и женщина, обма-

нутая повѣсой. Первыя слова, которыми онъ начинаетъ свой монологъ, это—брань, упрекъ и оскорбленіе человѣчеству. Онъ извѣрился въ людяхъ: вѣрны только сундуки. Онъ не любитъ солнечнаго свѣта: онъ живетъ внизу, въ тайномъ подвалѣ, гдѣ свѣтитъ золото. Скупая Зима, Кащей безсмертный, въ подземныхъ подвалахъ, подъ глубокимъ слоемъ снѣга, ревниво скрываетъ будущее золото колосьевъ, и ей подражаетъ это зимнее существо, этотъ безсолнечный старикъ, такой долговѣчный, почти безсмертный. Онъ потушилъ самого себя, и потому онъ живетъ и живетъ. Жрецъ и жертва сундука, онъ копитъ свои дни, чтобы копить золото. Медленно, упорно, сосредоточенно сноситъ онъ горсти сокровищъ и возвысилъ гордый холмъ, какъ тотъ царь, который

Могъ съ вышины съ весельемъ озирать
И долъ, покрытый бѣлыми шатрами,
И море, гдѣ бѣжали корабли.

Онъ собираетъ вещи, драгоцѣнныя вещи, но самъ, въ противоположность Плюшкину, въ вещь не превращается. Въ концѣ концовъ и для него золото не цѣль, а средство,—средство къ власти, золотая ступень къ престолу. Ибо онъ—царь, претендентъ на царскій тронъ. Онъ покорился золоту, чтобы себѣ покорить землю. Рыцарь, онъ долженъ властвовать, и онъ этого достигъ, и у себя въ подвалѣ онъ—на вершинѣ міра. Онъ можетъ править, какъ нѣкій демонъ, и все распростерто у его старыхъ ногъ, и лежитъ у нихъ море, гдѣ волнуются чуждыя ему людскія страсти.

Мнѣ все послушно, я же—ничему.

Человѣчество, которое богомъ своимъ сдѣлало золотого тельца, не стоитъ и иного царя, какъ этотъ хранитель и владѣтель золота. Въ желтомъ ореолѣ богатый старикъ—вотъ истинный монархъ вселенной.

И даже есть у него свои министры и уполномоченные, всѣ эти служители денегъ, всѣ эти ростовщики, изъ которыхъ одинъ такъ извѣстенъ его сыну. «Проклятый жидъ, почтенный Соломонъ», это—продолженіе и дополненіе къ Скупому рыцарю; если не разновидность его, то во всякомъ случаѣ нѣчто близкое: постыдное родство для рыцаря!.. Впрочемъ, и его, ростовщика, облагородилъ Пушкинъ, и послѣ Шейлока никогда еще въ презрѣнныя стяжательскія уста не были вложены такіе прекрасные стихи. Пушкинъ написалъ его не только безъ шаржа, здѣсь столь возможнаго и соблазнительнаго, но и придалъ ему опытность и мудрость, и это разсужденіе о жизни и смерти:

... Дни наши сочтены не нами:
Цвѣлъ юноша вечоръ, а нынче умеръ,
И вотъ его четыре старика
Несутъ на сгорбленныхъ плечахъ въ могилу.

Скупость рыцаря сдѣлала необходимымъ появленіе передъ Альберомъ Жида. И въ этомъ есть иронія и высшій смыслъ, что Жидъ, немыслимый безъ Скупого, предложилъ Альберу Скупого убить.

Итакъ, монарху-рыцарю довольно одного мановенія, чтобы всѣ мертвые и живые матеріалы міра задвигались и изъ себя построили ему сказочную жизнь, неслыханное физическое и нравственное великолѣпіе. Въ чертоги и сады сбѣгутся нимфы и музы,—гордыя, царственныя, дѣвственныя музы; ему поработится вольный геній,—а есть ли бо́льшая утѣха, чѣмъ въ рабство обратить свободнаго? Добродѣтель и злодѣйство, талантъ и трудъ будутъ ему одинаково послушны, и въ этомъ общемъ повиновеніи золоту скроется все разнообразіе дѣйствительности, исчезнутъ всѣ разницы, краски, оттѣнки,—будетъ одна религія, одно богослуженіе, и своеобразно осуществится мечта о единомъ стадѣ и единомъ пастырѣ...

Но Скупой рыцарь еще выше этой высоты. Онъ все можетъ, но онъ ничего не хочетъ. Ему довольно сознавать свою мощь. Ничего не хотѣлъ и Діогенъ; но Діогенъ зналъ, что если бы онъ захотѣлъ, онъ ничего бы не достигъ. А для рыцаря нѣтъ неосуществимыхъ желаній, но въ то же время онъ выше всѣхъ желаній. Кто же въ самомъ дѣлѣ можетъ сравниться съ такимъ величіемъ, съ такою сверхчеловѣческою властью? Или, можетъ быть, у него и самая душа сдѣлалась скупой, и онъ не хочетъ ее тратить, не хочетъ желать?

Самый скупой и потому самый спокойный въ мірѣ, нашъ рыцарь не колеблется въ своемъ спокойствіи даже отъ того, что онъ знаетъ про золото,

... сколькихъ человѣческихъ заботъ,
Обмановъ, слезъ, моленій и проклятій
Оно—тяжеловѣсный представитель,

тяжеловѣсный вдвойнѣ, не только своей естественной тяжестью, но и осѣвшей на немъ людской заботой и скорбью. Слезы, кровь и потъ сгустились въ эти блещущіе слитки, и сюда, въ подвалъ, сошлись нити всѣхъ человѣческихъ интересовъ и тревогъ. И рыцарь понимаетъ, что если бы эти слезы, кровь и потъ,

Пролитые за все, что здѣсь хранится,
Изъ нѣдръ земныхъ всѣ выступили вдругъ,
То былъ бы вновь потопъ,

и Скупой захлебнулся бы въ своихъ подвалахъ вѣрныхъ. Потопу совѣсти поддались бы даже вѣрные подвалы, измѣнили бы они старому барону, и не спасся бы онъ въ своемъ тайномъ ковчегѣ, въ желтомъ ковчегѣ золота. И оттого, когда Скупой влагаетъ ключъ въ замокъ своихъ сундуковъ, онъ чувствуетъ то же, что чувствовать должны убійцы, вонзая въ жертву ножъ: пріятно и страшно вмѣстѣ. Ибо онъ продолжаетъ убійства всѣхъ этихъ Тибо и страданія всѣхъ этихъ горемычныхъ вдовъ и сиротъ, и каждый дублонъ старинный одушевленъ всѣми тѣми, кто имъ владѣлъ и кто имъ хотѣлъ владѣть.

Раскрыты сундуки съ золотомъ, и сверкаютъ его накопленныя груды. Оправдывая свое собирательство, рыцарь говоритъ деньгамъ, которыя онъ хоронитъ въ гробахъ-сундукахъ:

Ступайте, полно вамъ по свѣту рыскать,
Служа страстямъ и нуждамъ человѣка.
Усните здѣсь сномъ силы и покоя,
Какъ боги спятъ въ глубокихъ небесахъ.

Онѣ долго ходили, эти монеты, изъ рукъ въ руки, онѣ многократно совершали путешествіе кругомъ свѣта, гонимыя нуждой и страстями, и онѣ устали, орошенныя слезами и потомъ, и кровью, и теперь онѣ уснутъ сномъ силы и покоя, какъ боги спятъ въ глубокихъ небесахъ,—ибо что можетъ быть покойнѣе и сильнѣе, чѣмъ боги отдыхающіе?

Однако самъ же рыцарь отдохновеніе золотыхъ боговъ нарушаетъ своимъ пиромъ—зажженными свѣчами. Онъ испытываетъ блаженство, онъ наслаждается волшебнымъ блескомъ своей имперіи, послушаніемъ своей могучей державы, и два раза говоритъ онъ въ упоеніи: я царствую! И опять онъ видитъ предъ собою склонившійся міръ, и людей, которые смотрятъ ему въ глаза, въ нихъ знакъ его читая воли, и всѣхъ этихъ нимфъ и музъ, ожидающихъ его призыва.

Но каждаго царя заботитъ мысль о наслѣдникѣ престола. Власть Скупого рыцаря послѣ его смерти, уже недалекой, приметъ его сынъ, «безумецъ, расточитель молодой, развратниковъ разгульныхъ собесѣдникъ». Отецъ—собиратель, сынъ—расточитель. Если вообще дѣти расточаютъ наслѣдіе родителей, то въ данномъ случаѣ это особенно трагично, и въ устахъ Скупого нѣтъ большей укоризны, чѣмъ слово «расточитель». Отецъ—старый, сынъ—молодой, и въ этой молодости—преступленіе и безуміе. Отецъ—молчаливый, сынъ—собесѣдникъ, и мирные, «нѣмые» своды подваловъ будутъ оглашены дерзкой бесѣдой, и вотъ рисуется вся эта потрясающая картина:

Едва умру, онъ, онъ сойдетъ сюда,
Подъ эти мирные, нѣмые своды,
Съ толпой ласкателей, придворныхъ жадныхъ;
Укравъ ключи у трупа моего,
Онъ сундуки со смѣхомъ отопретъ,
И потекутъ сокровища мои
Въ атласные, дырявые карманы.
Онъ разобьетъ священные сосуды,
Онъ грязь елеемъ царскимъ напоитъ—
Онъ расточитъ.

Здѣсь, дѣйствительно, попраніе всѣхъ божескихъ и человѣческихъ законовъ: эти ключи, украденные у трупа отца, и смѣхъ около смерти, и вакханалія беззаконнаго расточительства. Старикъ содрогается, старикъ возмущенъ,—онъ отрицаетъ за сыномъ право расточать. Оказывается, тяжкой цѣною купилъ Скупой рыцарь свою скупость и свое золото. Сердце его не обросло мохомъ. Онъ потушилъ себя, но было ярко и жадно, и жгуче его внутреннее пламя. Прежде чѣмъ онъ сталъ питаться водою и сухими корками, прежде чѣмъ онъ сдѣлался выше всѣхъ желаній, его обуревали страстныя желанія, и онъ подавлялъ, обуздывалъ, укрощалъ свои страсти, какъ дикихъ звѣрей. Страдалецъ скупости, мученикъ золота, онъ зналъ горькія воздержанія и проводилъ безпокойныя и безсонныя ночи. И тогда вокругъ его изголовья становились всѣ эти Тибо, и вдовы, и сироты, и начинала совѣсть свою лютую казнь,—та совѣсть, для характеристики которой Скупой не находитъ достаточно словъ и сравненій. Она грызетъ и скребетъ сердце, когтистый звѣрь; ея никогда не зовутъ, и она всегда приходитъ,—о, скучно съ нею бесѣдовать! Онъ совѣсть уподобляетъ себѣ и называетъ ее «заимодавецъ грубый»: вдова, которая подъ дождемъ съ тремя дѣтьми полдня стояла у его окна, знаетъ, каковъ онъ былъ, какъ заимодавецъ. Совѣсть дастъ взаймы, позволитъ совершить дурное, но потомъ какъ будетъ она требовать свой долгъ обратно! И она—вѣдьма, «отъ коей меркнетъ мѣсяцъ и могилы смущаются и мертвыхъ высылаютъ»: она не даетъ умереть жертвамъ его скупости, и онѣ выходятъ изъ своихъ могилъ и въ тѣ же безсонныя ночи, въ нетопленной конурѣ, какъ и тѣни живыхъ, окружаютъ его нищенское изголовье, проникаютъ въ его сокровенный подвалъ.

Здѣсь, у сундуковъ,—его храмъ, его тронъ, его молитва, и рыцарь хотѣлъ бы скрыть это святилище отъ непосвященныхъ, отъ взоровъ недостойныхъ. И такъ неутолима его страсть, что онъ мечтаетъ сподобить ее безсмертія, канонизировать ее:

О, если бъ изъ могилы
Придти я могъ, сторожевою тѣнью
Сидѣть на сундукѣ и отъ живыхъ
Сокровища мои хранить, какъ нынѣ!

Его скупость не умираетъ: она переносится за предѣлы гроба. Въ теченіе жизни, долгой жизни, и послѣ смерти одинаково сидѣть на сундукѣ и охранять свое золото; застыть въ мірозданіи и вѣчности какою-то фигурой космическаго сторожа,—такова философія и эсхатологія Скупого. И она придаетъ ему, во всякомъ случаѣ, черты величественныя, и вообще образъ его безконечно далекъ отъ пошлости и выступаетъ какъ сила, а не какъ слабость. Низменная страсть преобразилась отъ чародѣйной руки Пушкина, и надъ сѣдою головою скупца зажглось какое-то озареніе мрачной поэзіи, какъ погребальный факелъ, разсѣивающій тьму и тьму оттѣняющій.

А сыну скупца немного штриховъ посвятилъ поэтъ, но ими вполнѣ очертилъ его юный, легкій и привлекательный образъ. Онъ—добрый, въ сущности непривередливый; послѣднюю бутылку испанскаго вина онъ отослалъ больному кузнецу и потому свое волненіе и дрожь не могъ успокоить виномъ,—такъ удовольствовался водой. Онъ проситъ у еврея денегъ, онъ зависитъ отъ него, называетъ его своимъ другомъ, и въ то же время издѣвается надъ нимъ, такъ какъ трудно его гордости переносить это сочетаніе: рыцарь и ростовщикъ, и не подобаетъ рыцарю быть въ плѣну у ростовщика.

Послѣ смерти отца Альберъ отъ этого плѣна освободился. Скупой рыцарь, умирая, думалъ не о своей душѣ, не о своемъ сынѣ: послѣднія символическія слова его были: «гдѣ ключи? ключи, ключи мои!» Всю жизнь они отмыкали его сундуки и замыкали его душу. Теперь будетъ все такъ, какъ предчувствовалъ старикъ: эти ключи сынъ украдетъ у его трупа и сундуки со смѣхомъ отопретъ, и не будутъ сномъ силы и покоя спать встревоженныя деньги, и на землю прольется золотой дождь. Сынъ расточитъ. И когда тѣнь Скупого рыцаря выйдетъ изъ могилы (а выйдетъ она непремѣнно), чтобы прикрыть сухими, дряхлыми руками свои сокровища и сторожевою тѣнью сидѣть на сундукѣ, она найдетъ сундуки уже пустыми. И въ этомъ будетъ Немезида.

Моцартъ и Сальери.

Вѣроятно, Пушкину, какъ писателю, была органически-чужда всякая зависть. Правда, ему и некому было завидовать. У солнца нѣтъ соперниковъ. Онъ щедро тратилъ свои лучи, не сыпалъ своихъ даровъ разсчетливой рукою и не сжималъ завистливой длани.

Въ теченіе своей недолгой жизни онъ гораздо больше давалъ людямъ, чѣмъ бралъ отъ нихъ. Завистливая душа скупа,—Пушкинъ былъ нравственно расточителенъ. Завистливая душа одинока и угрюма,—Пушкинъ былъ общителенъ и радостенъ, какъ юный богъ. На такой почвѣ не могутъ расти ядовитые цвѣты зависти. Свой необычайный талантъ онъ склоненъ былъ даже умалять передъ блѣдными огоньками чужой, отъ его же свѣта зажегшейся поэзіи. Неизмѣнный товарищъ по духу, онъ просто и дружелюбно ставилъ рядомъ съ собою, напримѣръ, Дельвига,—и даже не рядомъ съ собой, а выше себя. И Кюхельбекера тоже называлъ онъ: «мой братъ родной по музѣ, по судьбамъ», и Козлову тоже говорилъ онъ: «о, милый братъ, какіе звуки!». Пушкинъ по натурѣ своей былъ именно братъ.

Но самъ далекій отъ зависти, порока художническихъ круговъ, тамъ, гдѣ ревнуютъ къ славѣ и каждый къ себѣ переманиваетъ ея нещедрые и капризные лучи, Пушкинъ глубоко понялъ драму завистливаго сердца, какъ, впрочемъ, и все на свѣтѣ. Ничего похожаго на Сальери не было въ личности поэта, и тѣмъ не менѣе онъ, не по образу и подобію своему, сотворилъ Сальери. И, что всего замѣчательнѣе, благородный Пушкинъ своимъ художественнымъ прикосновеніемъ освятилъ и самую зависть. Она получила у него высшій смыслъ и поднялась на степень борьбы за попранную міровую справедливость. Онъ связалъ ее съ тяжбой труда и таланта, человѣка и Бога; онъ показалъ тотъ моментъ, гдѣ сливается земное съ небеснымъ, гдѣ человѣческіе интересы и страсти въ своемъ развитіи переходятъ въ проблему міровую. Завистникъ отъ частнаго случая своихъ недоумѣній и страданій пришелъ къ вопросу теодицеи и горько заявилъ, что правды нѣтъ не только на землѣ, но и выше. Этотъ вызовъ, брошенный Богу, принялъ Пушкинъ и создалъ самое геніальное и глубокое изъ своихъ произведеній,—такіе стихи, такіе образы, такія слова, которые, какъ по другому поводу выразился Бѣлинскій, могутъ утомить всякое удивленіе,—а къ Пушкину ли не привыкло удивленіе?..

Сальери родился съ любовію къ искусству, и еще ребенкомъ онъ заслушивался органа въ старинной церкви, и «слезы, невольныя и сладкія, текли». Уже эта любовь, эти слезы эстетической воспріимчивости и восторга представляютъ собою даръ, благоволеніе небесъ, потому что онѣ выдѣляютъ изъ человѣческаго большинства, изъ толпы этихъ бѣдныхъ, блѣдныхъ, безталанныхъ. Понялъ ли Сальери, что это даръ, благоговѣйно ли принялъ онъ его или нѣтъ,—какъ бы то ни было, всю свою душу онъ сосредоточилъ на гармоніи. Монотеистъ музыки, ея іудей, въ противоположность ея эллину Моцарту (даже въ предѣлахъ самой красоты и

ея богослуженія дѣйствительна эта классификація), онъ рядомъ съ нею не ставилъ ничего другого, ради нея отвергъ все остальное: и праздныя забавы, и чуждыя ей науки, и самую жизнь. Суровый, упрямый, надменный, аскетъ искусства, мученикъ музыки, онъ прошелъ весь ея искусъ, тернистую дорогу скучной техники и напряженій. Онъ не дерзнулъ, робкій послушникъ, непосредственно сподобиться искусства и поставилъ ему въ подножіе ремесло. Онъ сдѣлался ремесленникъ. Онъ воспиталъ свое ухо и свои пальцы, далъ вѣрность первому, «послушную, сухую» бѣглость—послѣднимъ. Онъ не былъ сухимъ, но онъ нарочно, въ самобичеваніи, изсушилъ себя и музыку. Онъ разъялъ ее какъ трупъ, онъ умертвилъ звуки, онъ повѣрилъ алгеброй гармонію. Онъ вынулъ изъ музыки душу, сердцевину изъ ея живого тростника; онъ тяжкой теоріей заглушилъ звучаніе ея благодатной практики; онъ истязалъ ее. Строгій жрецъ и жертва музыки, онъ въ концѣ концовъ принесъ на ея алтарь не только самого себя, но и ее самое. Онъ былъ болѣе музыкаленъ, чѣмъ сама музыка. Сальери не чувствовалъ, не сознавалъ, что этой неусыпной и страдальческой внимательностью своей повѣрки онъ, быть можетъ, больше всего оскорблялъ свое вдохновенное божество. Однако, все это было съ его стороны не педантизмомъ; не то, чтобы здѣсь падали сухіе листья съ омертвѣлаго дерева: нѣтъ, Сальери сознательно пошелъ противъ своей непосредственности, которая у него была; онъ потушилъ свою страстность, подавилъ свои слезы, заглушилъ свой восторгъ.

И лишь потомъ, когда измучили его добровольно надѣтыя вериги искусства, онъ опять собралъ препарированную, раздробленную музыку, изъ науки претворилъ ее въ наслажденіе и посмѣлъ «предаться нѣгѣ творческой мечты»—тамъ, у себя, въ «безмолвной кельѣ» (музыка была для него какъ монастырь). Въ тишинѣ, въ тайнѣ, позабывъ и сонъ и пищу, онъ компонировалъ, священнодѣйствуя и переживая восторгъ и слезы вдохновенія. Но, взыскательный художникъ, онъ все былъ недоволенъ собою и жегъ свои родныя созданія, труды своихъ творческихъ ночей,—онъ совершалъ этимъ, какъ онъ думалъ, угодное Богу музыки жертвоприношеніе, онъ мнилъ себя Авраамомъ, готовымъ закласть родного сына, и холодно смотрѣлъ, какъ мысль его и звуки, имъ рожденные, пылая съ легкимъ дымомъ исчезали.

Великое самоотверженіе, великій трудъ Сальери послужили ему ступенями для славы, которая наконецъ улыбнулась ему, и въ «искусствѣ безграничномъ» достигъ онъ степени высокой, «въ сердцахъ людей нашелъ созвучія своимъ созданіямъ». Теперь для него міръ—оркестръ: музыкантъ играетъ на сердцахъ и звуками рожда-

етъ созвучія. И вышелъ Сальери изъ своего одиночества, изъ своей молчаливой комнаты; онъ понялъ товарищескія чувства, онъ дѣлилъ свои успѣхи и славу съ друзьями и, гордый, совсѣмъ не зналъ презрѣнной зависти.

Почему же теперь ея змѣя, какъ змѣя Олега, черною лентой обвилась вокругъ его сердца и самъ сталъ онъ этой змѣей, «людьми растоптанною, вживѣ песокъ и пыль грызущею безсильно»? Почему же теперь зависть и ненависть проникли въ его испытанную душу? Потому что его обидѣло небо, и у ногъ своихъ онъ увидѣлъ разверзшуюся бездну міровой неправды. Онъ встрѣтилъ на своей дорогѣ свою противоположность—безумца, гуляку празднаго, безпечнаго и нетрудящагося Моцарта, и эту легкомысленную голову озарялъ незаслуженный священный даръ, безсмертный геній. Былъ посланъ этотъ геній не ему, Сальери, который зарабатывалъ себѣ душу и талантъ, не въ награду любви горящей, самоотверженія, трудовъ, усердія, моленій,—«гдѣ жъ правота?»...

Ни за что дано многое, за многое не дано ничего (ибо въ сравненіи съ геніемъ Моцарта — что блѣдное дарованіе Сальери?): этого не можетъ перенести Сальери, такъ какъ онъ не можетъ стать по ту сторону нашихъ жалкихъ и корыстныхъ понятій о наградѣ и наказаніи, и онъ слишкомъ помнитъ о себѣ, что онъ для звуковъ жизни не щадилъ, молился музыкѣ и къ ея подножію принесъ всего себя.

Онъ «глубоко, мучительно» завидуетъ Моцарту и въ то же время, какъ музыкантъ, восторженно слушаетъ его небесную игру. Эти два разнородныя теченія, вражда и восхищеніе, сливаются у него въ сердцѣ. Ему нуженъ Моцартъ, и Моцартъ ему ненавистенъ. Онъ думаетъ только о немъ, и всегда, всегда стоитъ предъ нимъ его безмѣрно счастливый соперникъ. Трагическимъ стономъ звучатъ эти знаменательныя слова.

Ахъ, Моцартъ, Моцартъ!
Когда же мнѣ не до тебя?

И это такъ символично, что не успѣлъ Сальери закончить свой первый монологъ впервые названнымъ именемъ Моцарта, какъ неожиданно открывается дверь и входитъ Моцартъ: объективировалась вѣчная дума Сальери, неотступный образъ, тѣнь и спутникъ его мыслей. Встревоженъ Сальери, не услышалъ ли его Моцартъ; но тотъ, простодушный, ничего не слыхалъ, ничего не подозрѣвалъ...

Входитъ Моцартъ и начинаетъ съ шутки,—вдохновенный шалунъ. Сальери совершенно чуждъ юмору, а Моцартъ весь искрится имъ. Гостепріимный, привѣтливый, широкій, не спеціалистъ одной

музыки, не порабощенный своимъ геніемъ, онъ, творецъ *Донъ-Жуана*, можетъ, въ дѣтской радости, слушать слѣпого трактирнаго скрипача, который играетъ, не зная, кто передъ нимъ, аріи изъ *Донъ-Жуана*,—и Моцартъ смѣется, смѣется и хочетъ этимъ смѣхомъ заразить и освѣтить сумрачную душу Сальери. Но тотъ, исключительный въ своей серьезности, не пускаетъ шутки въ торжественную церковь музыки и не смѣется. Онъ искренно возмущенъ пародіей,—односторонній, но величественный въ своей односторонности:

Нѣтъ,
Мнѣ не смѣшно, когда маляръ негодный
Мнѣ пачкаетъ Мадонну Рафаэля;
Мнѣ не смѣшно, когда фигляръ презрѣнный
Пародіей безчеститъ Алигьери.

Сальери оскорбленъ за Рафаэля, за Данта, за Моцарта, и онъ прогоняетъ старика, а Моцартъ даетъ деньги ему, слѣпому скрипачу: «пей за мое здоровье»,—этому здоровью грозитъ великая опасность со стороны того, кто остался!..

Моцартъ пришелъ, чтобы сыграть своему другу, своему врагу, двѣ-три мысли, которыя онъ «набросалъ», между прочимъ, случайно—«бездѣлицу» (никогда про музыку не сказалъ бы такъ Сальери), и онъ хочетъ выслушать авторитетное мнѣніе товарища.

За фортепіано, за своей священной игрушкой (ибо играя Моцартъ похожъ на играющее дитя), онъ говоритъ Сальери:

Представь себѣ... кого бы?
Ну, хоть меня—немного помоложе,
Влюбленнаго—не слишкомъ, а слегка;
Съ красоткой или другомъ—хоть съ тобой;
Я веселъ... Вдругъ: видѣнье гробовое,
Незапный мракъ иль что-нибудь такое...
Ну, слушай же.

Сальери хорошо можетъ представить себѣ эту программу. Такъ характерно, что Моцартъ рисуетъ себя «влюбленнаго не слишкомъ, а слегка»,—даже влюбленность легка въ этой воздушной душѣ. Еще характернѣе, что онъ воображаетъ себя съ другомъ—хоть съ Сальери: онъ вѣритъ въ дружбу, онъ въ себя легко принимаетъ другого. И среди беззавѣтной бесѣды съ красоткой или другомъ, среди веселья—вдругъ: видѣнье гробовое, незапный мракъ иль что-нибудь такое. Сальери хорошо знаетъ, что это такое,—онъ знаетъ, что свѣтлому Моцарту, наединѣ съ другомъ-измѣнникомъ, явится

видѣнье гробовое; мысль, посѣтившая геніальнаго гуляку въ часы безсонницы и предчувствій, окажется вѣщей, окажется зловѣщей.

Моцартъ играетъ, Сальери слушаетъ. Онъ слушаетъ эту глубину, и смѣлость, и стройность, эти дивныя мелодіи, не стоившія никакого усилія и принужденія,—онъ слушаетъ, и передъ нимъ воскресаетъ и проходитъ вся потерянная молодость его: и пренебреженныя забавы, и умерщвленные звуки, и ночи безъ сна, и дни трудовые, безъ солнца, безъ радостей; все вернулось къ нему, и какой-то голосъ спрашиваетъ его:

Зачѣмъ ты все это претерпѣлъ, для чего ты принесъ эти жертвы безплодныя? Неизмѣримо-большее достигнуто этимъ беззаботнымъ лѣнивцемъ, который не зналъ никакой жертвы и никакого труда. Ты, Сальери, согнулся подъ тяжестью своего таланта, Моцартъ же легко несетъ свой геній,—граціозный, крылатый, Аріэль звуковъ: не рабъ музыки, какъ ты, а любовникъ ея, свободный въ самой привязанности къ ней...

Слушаетъ Сальери и потомъ говоритъ Моцарту:

Ты съ этимъ шелъ ко мнѣ
И могъ остановиться у трактира
И слушать скрипача слѣпого! Боже!
Ты, Моцартъ, недостоинъ самъ себя.

Это звучитъ сурово и какъ будто справедливо, и опять аскетическая фигура Сальери показываетъ величіе своей мрачной односторонности. Вѣдь и самъ творецъ его сказалъ:

Прекрасное должно быть величаво,
Служенье музъ не терпитъ суеты.

И продолжаетъ Сальери въ восторгѣ и негодованіи:

Ты, Моцартъ,—богъ, и самъ того не знаешь;
Я знаю, я.

Но богъ вѣдь всегда безсознательный; онъ самъ себя не сознаетъ и только другимъ, только людямъ является какъ богъ. Оттого, всегда готовый на шутку, веселый, сверкающій, Моцартъ смѣется и замѣчаетъ, что божество его проголодалось. И Сальери зоветъ его отобѣдать вмѣстѣ въ трактирѣ Золотого Льва.

Въ трактирѣ Золотого Льва будетъ послѣдній обѣдъ Моцарта,—тамъ справитъ онъ поминки по самомъ себѣ. На этой заупокойной трапезѣ, на этой тризнѣ по Моцартѣ будетъ присутствовать Моцартъ, еще живой, но уже вычеркнутый изъ списка живыхъ. На

смерть зоветъ его Сальери, но геній-ребенокъ этого не чувствуетъ и отвѣчаетъ:

Пожалуй;
Я радъ. Но дай, схожу домой, сказать
Женѣ, чтобы меня она къ обѣду
Не дожидалась.

Онъ радъ. Только онъ предупредитъ жену, потому что геніальность не мѣшаетъ ему быть семьяниномъ, и тихое, простое, трогательное такъ близко его высокому духу. Его дожидается жена,—а Сальери никто не ждетъ. Сальери безъ жены, безъ дѣтей: монахъ и мученикъ искусства. У него была когда-то женщина, его Изора, но этому прошло ужъ восемнадцать лѣтъ, и она подарила ему ядъ. Онъ отъ любви, отъ любовницы, унаслѣдовалъ только ядъ. Его никто не ждетъ, но самъ онъ ждетъ жертвы и настойчиво говоритъ вослѣдъ Моцарту:

Жду тебя, смотри жъ!

Теперь, послѣ новой музыки Моцарта и послѣ его новой шалости, онъ еще яснѣе увидѣлъ въ себѣ человѣка, предназначеннаго исполнить великую миссію, исправить роковую ошибку мірозданія,—ту несправедливость, что въ столкновеніи труда и лѣни, серьезности и легкомыслія, заслуги и благодати первенство возъимѣла послѣдняя.

Избранный судьбою, чтобы остановить Моцарта, погасить метеоръ его духа, Сальери видитъ въ этомъ свой долгъ передъ музыкой, передъ ея прогрессомъ,—

не то мы всѣ погибли,
Мы всѣ, жрецы, служители музыки,
Не я одинъ съ моей глухою славой...
Что пользы, если Моцартъ будетъ живъ
И новой высоты еще достигнетъ?
Подыметъ ли онъ тѣмъ искусство? Нѣтъ!
Оно падетъ опять, какъ онъ исчезнетъ:
Наслѣдника намъ не оставитъ онъ.
Что пользы въ немъ? Какъ нѣкій херувимъ,
Онъ нѣсколько занесъ намъ пѣсенъ райскихъ,
Чтобъ, возмутивъ безкрылое желанье
Въ насъ, чадахъ праха, послѣ улетѣть!
Такъ улетай же! Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше!

Сальери можно было бы простить этотъ софизмъ, если бы ему принадлежали эти стихи. Но они принадлежатъ Пушкину...

Сальери долженъ бы знать, что геній никогда не оставляетъ наслѣдника; геніальности всегда достаетъ только на одного. И, суровый жрецъ и единобожникъ искусства, онъ долженъ бы знать, что въ искусствѣ нельзя спрашивать о пользѣ. Райскія пѣсни херувима, которыя возмущаютъ желанье въ чадахъ праха, это—превыше всякой пользы, и всегда оказывается, что эти желанія не безкрылы: искусство окрыляетъ.

Сальери не только софистъ, но и убійца и самоубійца. Онъ ходитъ по жизни съ ядомъ, и не разъ онъ чувствовалъ искушеніе эту жизнь ядомъ отравить; онъ зналъ соблазнъ самоубійства. Онъ мало любитъ жизнь; она часто казалась ему несносной раной, и его мучила жажда смерти. Откуда она? Быть можетъ, этотъ пессимизмъ и жажда смерти были именно тоской по легкости, по непринужденности духа, по всей этой воздушной субстанціи Моцарта? И недаромъ, музыкантъ, Сальери подавлялъ искушеніе самоубійства мечтами о внезапныхъ дарахъ жизни, о восторгѣ и творческой ночи, и вдохновеньи, о томъ, что новый Гайденъ можетъ сотворить великое и онъ, Сальери, насладится имъ. Стоитъ жить для великаго, для будущей музыки, для одной ночи; стоитъ жить, чтобы слышать звуки.

Но Сальери зналъ еще и соблазнъ убійства. Не трусъ и глубоко чувствующій обиду, онъ любитъ месть. Ему приходилось уже сидѣть съ врагомъ безпечнымъ за одной трапезой, пировать съ ненавистнымъ гостемъ, и онъ, хозяинъ, только потому не убивалъ гостя, что со своей обычной разсчетливостью соображалъ, не встрѣтитъ ли онъ злѣйшаго врага, не грянетъ ли злѣйшая обида въ него, Сальери, съ надменной высоты.

Все такъ и случилось, какъ онъ ожидалъ. Найденъ тотъ главный, тотъ единственный врагъ, который, среди многихъ враговъ, есть у каждаго въ жизни: это—Моцартъ. Грянула съ высоты злѣйшая изъ возможныхъ обидъ, обида самого неба: это—незаработанный геній Моцарта. И, наконецъ, явился новый Гайденъ, упоившій восторгомъ: это — Моцартъ. Все сошлось въ немъ, въ одномъ его лицѣ, вражескомъ и дорогомъ, ненавистномъ и неотразимомъ,—такъ пусть же онъ умретъ, Моцартъ, пусть онъ улетаетъ, крылатый херувимъ. И взываетъ къ яду Сальери:

Завѣтный даръ любви,
Переходи сегодня въ чашу дружбы,—

у него была отравленная любовь и отравленная дружба, и онъ ходилъ по жизни съ ядомъ.

Въ трактиръ Золотого Льва, на свою тризну, пришелъ Моцартъ

пасмурный: тѣнь смерти уже легла на его свѣтлое сердце. И его тревожитъ его Requiem. Въ музыкѣ явилась ему смерть; музыкой жилъ онъ и отъ музыки умеръ. Два раза приходилъ къ нему кто-то и не заставалъ. «Отчего—не знаю, всю ночь я думалъ: кто бы это былъ? и что ему во мнѣ?» Но въ концѣ концовъ смерть застанетъ. И въ тотъ самый часъ, когда семьянинъ Моцартъ игралъ на полу со своимъ мальчишкой, въ тотъ самый часъ, когда жизнь была игрой, и радостью, и смѣхомъ, — кликнули его, и человѣкъ, одѣтый въ черномъ, учтиво поклонившись, заказалъ ему Requiem и скрылся; теперь Requiem уже готовъ, и его будутъ играть на похоронахъ Моцарта. Съ тѣхъ поръ, сознается смущенный музыкантъ,—

Мнѣ день и ночь покоя не даетъ
Мой черный человѣкъ. За мною всюду
Какъ тѣнь онъ гонится. Вотъ и теперь
Мнѣ кажется, онъ съ нами самъ-третей
Сидитъ.

Въ самомъ дѣлѣ, ихъ за столомъ не двое, а трое. И такъ жутко въ своей простотѣ и въ своей созвучности раздаются эти слова: мой черный человѣкъ; это—смерть, и это—Сальери. Черный человѣкъ, Сальери старается разсѣять Моцарта, но ихъ бесѣда невольно движется вокругъ черной точки — убійства. Сальери не вѣритъ, что Бомарше кого-то отравилъ: «онъ слишкомъ былъ смѣшонъ для ремесла такого», т.-е. былъ веселъ и свободенъ духомъ, какъ Моцартъ; убиваетъ только мрачный, какъ Сальери. Моцартъ же высказываетъ иное,—свою довѣрчивую, свою благородную мысль, что вообще геній не убиваетъ, и, братски сближая себя и Сальери, онъ говоритъ про Бомарше:

Онъ же геній,
Какъ ты да я. А геній и злодѣйство—
Двѣ вещи несовмѣстныя. Не правда ль?

Наступила роковая минута для Моцарта—и для Сальери, которому предложено теперь великое испытаніе, который слышитъ, что геній и злодѣйство — двѣ вещи несовмѣстныя. «Ты думаешь?» бросаетъ онъ свой зловѣщій и насмѣшливый вопросъ, и, увѣренный, что неопровержимо, на дѣлѣ доказываетъ совмѣстимость генія и злодѣйства, вѣнчая ихъ черной свадьбой, онъ въ это самое мгновеніе опускаетъ ядъ въ стаканъ Моцарта. «Ну, пей же». И Моцартъ на поминкахъ по самомъ себѣ провозглашаетъ эту потрясающую здравицу:

За твое
Здоровье, другъ, за искренній союзъ,
Связующій Моцарта и Сальери,
Двухъ сыновей гармоніи.

О, жестокая иронія судьбы, о, слѣпота человѣческаго невѣдѣнія, о, роковое обольщеніе дружбы! Моцартъ пьетъ здоровье своего убійцы, онъ славитъ искренній союзъ двухъ братьевъ по гармоніи, и онъ не знаетъ, что одного изъ нихъ зовутъ Каинъ! Мать-гармонія не имѣла настолько умиротворяющей силы, чтобы утишить преступное сердце одного изъ своихъ сыновей.

Моцартъ пьетъ, и—послѣдній трепетъ раскаянія, послѣднее содроганіе совѣсти, призывъ не только къ убійству, но и къ самоубійству,—прозвучали эти слова Сальери:

Постой,
Постой, постой!.. Ты выпилъ!.. Безъ меня?

Но поздно: Моцартъ встаетъ изъ-за стола; «довольно, сытъ я». Онъ больше никогда не испытаетъ голода и жажды: навѣки утолилъ ихъ Сальери.

Моцартъ подходитъ къ фортепіано и играетъ свой Requiem,—онъ играетъ собственную паннихиду, своими звуками провожаетъ себя въ могилу. Поразительны и страшны, и трогательны эти живыя похороны. Сальери плачетъ отъ художественнаго восторга; нѣтъ у Моцарта болѣе благодарнаго и воспріимчиваго слушателя, болѣе тонкаго цѣнителя, чѣмъ его убійца; и это великая жертва для Сальери, что онъ обрекаетъ себя на то, чтобы никогда больше не слыхать Моцарта. Но Сальери плачетъ и отъ сознанія исполненнаго долга,—

Какъ будто тяжкій совершилъ я долгъ,
Какъ будто ножъ цѣлебный мнѣ отсѣкъ
Страдавшій членъ! Другъ Моцартъ, эти слезы...
Не замѣчай ихъ. Продолжай, спѣши
Еще наполнить звуками мнѣ душу...

Спѣши: въ послѣдній разъ играетъ Моцартъ, и въ послѣдній разъ даетъ онъ неслыханное упоеніе своему убійцѣ; и Сальери тоже спѣшитъ наполнить звуками свою вѣчно звуковъ жаждущую душу.

И въ блѣднѣющія, смертью поцѣлованныя уста Моцарта вкладываетъ Пушкинъ эти стихи, эти сокровища:

Когда бы всѣ такъ чувствовали силу
Гармоніи! Но нѣтъ: тогда бъ не могъ
И міръ существовать; никто бъ не сталъ

Заботиться о нуждахъ низкой жизни,—
Всѣ предались бы вольному искусству!
Насъ мало, избранныхъ, счастливцевъ праздныхъ,
Пренебрегающихъ презрѣнной пользой,
Единаго прекраснаго жрецовъ.

Для міра нужно грубое, для низкой жизни съ ея заботами, и хорошо, что мало избранныхъ, счастливцевъ праздныхъ, пренебрегающихъ презрѣнной пользой. Счастье вдохновенной праздности и благодатной безполезности—его не зналъ Сальери. И все спрашивалъ онъ: что пользы, если Моцартъ будетъ живъ?..

Моцартъ и не будетъ живъ.

... Я нынче нездоровъ,
Мнѣ что-то тяжело; пойду, засну.
Прощай же.

У него какое-то недоумѣніе, дѣтское недоумѣніе передъ смертью. Но онъ говоритъ: прощай; онъ чувствуетъ, что это — прощаніе; а Сальери, который знаетъ это навѣрное, слишкомъ навѣрное,— Сальери отвѣчаетъ ему: до свиданья. Будетъ ли когда-нибудь это свиданіе, увидятся ли еще Моцартъ и Сальери?

Не видѣть, но слышать Моцарта будетъ Сальери всю жизнь. Ибо хотя Моцартъ, богъ, недостойный самъ себя, вдохновенный лѣнивецъ, геній Божьей милостью, улетѣлъ (какіе звуки потерялъ онѣмѣвшій міръ, какъ осиротѣла гармонія!), но, улетая, онъ въ душѣ и совѣсти Сальери оставилъ свои мелодіи, вѣчно-укоризненные звуки Requiem'а, и оставилъ мучительное сомнѣніе—совмѣстимы ли геній и злодѣйство.

... Но ужель онъ правъ,
И я не геній? „Геній и злодѣйство—
Двѣ вещи несовмѣстныя". Неправда:
А Бонаротти?.. Или это сказка
Тупой, безсмысленной толпы—и не былъ
Убійцею создатель Ватикана?

Огненною бездною будетъ отнынѣ зіять передъ Сальери этотъ вопросъ — и отвѣтъ на него. Убивъ Моцарта, Сальери понялъ, что онъ, убійца, не геній. Не смерть, а жизнь несетъ съ собою геній. Убивъ Моцарта, Сальери убилъ и самого себя. Теперь онъ одинъ, и на свѣтѣ нѣтъ уже великаго соперника, для котораго талантъ былъ игрушкой и который играя былъ похожъ на играющее дитя; теперь изъ «двухъ сыновей гармоніи» остался одинъ. Но побѣдитель не спокоенъ; убитый убійца, онъ сразу увидѣлъ всю свою

темноту и все свое ничтожество. И онъ долженъ былъ понять, что его судъ съ небомъ, его ропотъ на мнимую неправду не имѣли высшаго смысла. Ибо ирраціональная сила таланта несовмѣстима съ обдуманной силой прилежанія и труда. Въ сферѣ искусства ничто великое не создано работой. Великое дается легко, геніальное въ своей концепціи не требуетъ усилій. Труженикъ, не благословенный дарованіемъ, проходитъ въ мірѣ сѣрой и медлительной тѣнью,—блестящей молніей проносится безпечный геній. Богъ дѣлится съ людьми своимъ талантомъ,—но не со всѣми людьми. Если въ этомъ и есть обида, то лишь для узкаго, мелко-человѣческаго сердца. Духъ же безкорыстный заслушается чужой музыки, заглядится на чужія краски и линіи, и потонутъ робкіе протесты и отголоски низкой зависти «въ наслажденьи, не отравляемомъ ничѣмъ» (а Сальери былъ отравленъ и отравилъ).

Не зависть можетъ возстановить міровую правду и рѣшить вѣковѣчную тяжбу труда и таланта, работника и генія, человѣка и Бога. Зависть плоска и разсчетлива, міръ глубокъ и неизмѣримъ—какъ имъ тягаться? И какъ разгадать нечеловѣческую тайну вѣчной справедливости? Наши свѣточи—труды нашихъ рукъ, но они покорно гаснутъ, когда на небѣ появляется въ своей колесницѣ нетрудящаяся розоперстая Аврора. Красота и геній всегда правы; да будутъ они благословенны въ своей безпечности, въ своемъ стихійномъ преимуществѣ, да будутъ они благословенны отъ насъ, тружениковъ!

Все это такъ; но, можетъ быть, передъ судомъ если не справедливости, то милости оправдается и Сальери. Онъ согрѣшилъ противъ гармоніи, убивъ Моцарта; но ему казалось, что онъ это дѣлаетъ изъ любви къ ней, ея темный рыцарь, ея суровый жрецъ. Онъ заступился за музыку, и музыка заступится за него. И если въ самомъ дѣлѣ совершится такой послѣдній судъ, то больше всего будетъ предстательствовать за Сальери благородный и великодушный Моцартъ, властелинъ и любовникъ музыки, ея богъ и баловень. Онъ пойметъ Сальери и проститъ его, какъ понялъ его конгеніальный Моцарту Пушкинъ, и будетъ новый союзъ двухъ сыновей гармоніи. Въ высшей музыкѣ міра потонетъ спѣтая Сальери трагическая пѣснь обиды и зависти.

Каменный гость.

Конечно, было бы странно, если бы Пушкинъ, такъ чутко отзывавшійся на великіе сюжеты, оставилъ безъ вниманія вѣчную тему Донъ-Жуана. Въ литературу о знаменитомъ кавалерѣ онъ внесъ одну изъ замѣчательнѣйшихъ страницъ, обвѣянную чарами испанской ночи, и больше всего привлекаетъ она сочетаніемъ простоты

и красоты. Правда, это для Пушкина такъ обычно; но въ «Каменномъ гостѣ» есть порою даже извѣстная грубоватость; ничего не сдѣлано для того, чтобы сознательно идеализировать мірового любовника, и тѣмъ не менѣе образъ его получился изящный и плѣнительный, такъ что становятся понятными всѣ его безчисленныя побѣды надъ женскими сердцами и надъ мужской отвагой. Пушкинскій Донъ-Жуанъ, въ плащѣ, со шпагою, въ шляпѣ, увѣренно и легко проходя свою жизненную дорогу, женщинъ цѣлуетъ, а мужчинъ убиваетъ. Это не простая дерзость, въ этомъ есть смыслъ и философія; но для того чтобы ихъ выказать, авторъ не возвелъ своего героя на искусственную высоту. Донъ-Жуанъ ищетъ «истинно-прекраснаго», но въ этомъ стремленіи къ идеалу онъ все же остается легкомысленнымъ повѣсой, и щедро надѣлилъ его Пушкинъ той духовной свободой, которой такъ много было у него самого.

Для Донъ-Жуана вся жизнь—сплошное приключеніе. Ему всегда нужно новое, потому что самъ онъ въ каждое мгновеніе—новый, свѣжій, первый. Онъ никогда не продолженіе самого себя, а всегда начало. Любовь обновляетъ его. Онъ переживаетъ многія возрожденія,—аватары любви. Онъ постоянно готовъ, настроенъ, жизнерадостенъ. Едва ли не больше всего полюбилъ въ немъ родственный ему Пушкинъ эту рѣдкую способность никогда не чувствовать усталости отъ самого себя, эту свѣтлую молодость духа. Убійца и прелюбодѣй, онъ однако чистъ какъ ребенокъ и прозраченъ какъ хрусталь. Онъ не отуманенъ ни собою, ни жизнью, и вся непосредственность природы могла бы смотрѣться въ него какъ въ зеркало. Именно поэтому онъ неотразимъ и непобѣдимъ. Онъ всегда правъ. Нѣтъ бо́льшаго праведника, чѣмъ этотъ преступникъ. Законы для него не писаны, головы ему не отрубятъ («вѣдь онъ не государственный преступникъ»), религіи онъ не боится. Въ концѣ концовъ его настигнетъ совѣсть, но пока онъ жилъ, она устала раньше, чѣмъ онъ, и, значитъ, она ему ни въ чемъ не мѣшала. Его необычайная храбрость, это—именно слѣдствіе его внутренняго безстрашія: не боится другихъ тотъ, кто не боится себя. Донъ-Жуанъ всецѣло себя принимаетъ, и потому каждое женское сердце—его обитель. Ибо женщина въ Жуанѣ видитъ воплощеніе самой жизни, оправданіе ея и себя. Благодаря ему, женщина вникаетъ и вѣритъ въ свое назначеніе и смыслъ, и чарованіе. Въ его смѣлости—стихія, въ его поцѣлуяхъ — природа, въ его желаніяхъ — міровая мудрость. Онъ хочетъ и можетъ. Онъ никогда не задумывается, не соображаетъ. Для него въ мірѣ существуетъ только главное, только одно. Принципы и предразсудки, власти и авторитеты, вся досадная сложность искусственныхъ отношеній: все отступаетъ для Жуана передъ жен-

щиной. Для него она исключительна. Для него любовь не эпизодъ. Онъ можетъ обольщать, измѣнять, уходить; но когда онъ любитъ, онъ только любитъ. Онъ любитъ безусловно. Къ нему не пристала, какъ къ другимъ людямъ, тяжесть мелочей, суетная раздробленность интересовъ или какое-нибудь различеніе потѣхи отъ дѣла. И женщина это цѣнитъ. Въ каждомъ дыханіи своемъ она плѣняетъ Жуана. Въ немъ она встрѣчаетъ не общее мужское вожделѣніе, а религіозный культъ. И когда онъ склоняетъ передъ нею «дрожащія колѣна», то видитъ въ ней «добродѣтель», и это—его молитва, его богослуженіе. Онъ живетъ для нея, и потому она живетъ для него. Его имя стало синонимомъ измѣнчивости, онъ слыветъ какъ непосѣда, но на самомъ дѣлѣ, въ предѣлахъ влюбленнаго мгновенія, нѣтъ души болѣе патетической, болѣе сосредоточенной, болѣе привязчивой. Говоря слова страсти, онъ никогда не обманываетъ,—всегда искренній и въ любви, и въ измѣнѣ. И мгновенію отдающаяся, женщина осуждена любить Жуана, и въ самой мукѣ сладка ей эта обреченность.

Любовь и смерть давно уже сплетены между собою въ неразлучномъ союзѣ, и оттого не диво, что рыцарь первой, Донъ-Жуанъ всегда такъ близокъ и къ послѣдней. Знаменательно, что какъ только онъ достигъ воротъ Мадрита, бѣжавъ изъ ссылки, онъ очутился на кладбищѣ и тамъ вспоминалъ свою Инезу. Ея ужъ нѣтъ, бѣдной Инезы,—но когда-то онъ любилъ ее и странную пріятность находилъ въ ея печальномъ взорѣ и помертвѣлыхъ губкахъ, и въ этомъ голосѣ, тихомъ и слабомъ какъ у больной. Встаетъ предъ читателями обликъ этой замученной печальной и кроткой газели, («мужъ ея былъ негодяй суровый»), но въ душѣ Донъ-Жуана онъ уплылъ уже тихой тѣнью, и смѣнили его новые, смѣнили другіе.

На кладбище, куда принесъ Донъ-Жуанъ свою любовь, каждый день пріѣзжаетъ Дона-Анна къ памятнику своего мужа «за упокой души его молиться и плакать». Но горьки ли тѣ слезы, которыя правильно льются каждый день? Онѣ и не оказались горькими: супругъ Доны-Анны, командоръ де-Сольва, былъ убитъ Донъ-Жуаномъ, и Дона-Анна полюбила убійцу своего мужа. Она была прекрасна и, значитъ, она была для Жуана.

Но раньше онъ мимолетно вернулся къ Лаурѣ, веселой, гостепріимной, вѣтреной красавицѣ (и Жуанъ, измѣнчивый любовникъ, умѣетъ возвращаться; но характерно, что въ данномъ случаѣ онъ вспомнилъ о той, которая сама непостоянна: скорѣе измѣнница, чѣмъ постоянная, удержитъ у своего сердца свободную любовь Жуана). Лаура предчувствовала появленіе свего ненадежнаго Петрарки и въ этотъ вечеръ пѣла такъ вдохновенно:

Слова лились, какъ будто ихъ рождала
Не память робкая, но сердце..,

сердце, полное Жуана. И она еще и еще, много поетъ, потому что она много любитъ:

Одной любви музыка уступаетъ;
Но и любовь—мелодія.

Она поетъ слова Донъ-Жуана, возмущая этимъ Донъ-Карлоса, родной братъ котораго убитъ Жуаномъ на поединкѣ,—«убитъ честно», заступается Лаура: женщина не отвергаетъ убійцу; напротивъ, можетъ быть, Жуанъ знаетъ, что вѣрное средство взять женщину это—кого-нибудь близкаго ей убить. «Она должна въ немъ ненавидѣть убійцу брата своего» сказано про Татьяну; но даже Татьяна любила убійцу брата своего.

Такъ какъ «бѣшеный» Донъ-Карлосъ своимъ возмущеньемъ напомнилъ Лаурѣ Донъ-Жуана, то она позволила ему остаться послѣ ухода всѣхъ гостей. И такъ трогательно, что на вопросъ Карлоса, любила ли она Донъ-Жуана, «своего вѣрнаго друга, своего вѣтренаго любовника», она сначала дѣлаетъ утвердительный знакъ, а потомъ повторяетъ: «очень». Ей восемнадцать лѣтъ, Лаурѣ, и Донъ-Карлосъ, мысленно уходя за предѣлы ея молодости, рисуетъ передъ нею картину ея печальнаго будущаго:

Ты молода... и будешь молода
Еще лѣтъ пять иль шесть. Вокругъ тебя
Еще лѣтъ шесть они толпиться будутъ,
Тебя ласкать, лелѣять и дарить,
И серенадами ночными тѣшить,
И за тебя другъ друга убивать
На перекресткахъ ночью. Но когда
Пора пройдетъ, когда твои глаза
Впадутъ, и вѣки, сморщась, почернѣютъ,
И сѣдина въ косѣ твоей мелькнетъ,
И будутъ называть тебя старухой,
Тогда—что скажешь ты?

Вотъ мысли, вѣрныя и старческія, которыя никогда не пришли бы въ легкомысленную голову Жуана; вотъ о чемъ онъ никогда не сталъ бы говорить съ женщиной; вотъ чѣмъ Карлосъ можетъ погубить себя въ глазахъ и въ сердцѣ Лауры. Кто думаетъ о будущемъ, тотъ не живетъ въ настоящемъ. И Лаура, смущенная, отуманненая, отклоняетъ отъ себя черную тѣнь навѣянной Донъ-Карл о

сомъ тоски; она отвѣчаетъ ему въ этихъ чудныхъ и опьяняющихъ югомъ стихахъ:

Тогда... зачѣмъ
Объ этомъ думать? Что за разговоръ?
Иль у тебя всегда такія мысли?
Приди—открой балконъ. Какъ небо тихо!
Недвижимъ теплый воздухъ; ночь лимономъ
И лавромъ пахнетъ; яркая луна
Блеститъ на синевѣ густой и темной,
И сторожа кричатъ протяжно: „Ясно!"
А далеко, на сѣверѣ—въ Парижѣ—
Быть можетъ, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идетъ и вѣтеръ дуетъ.
А намъ какое дѣло?

Для Лауры предѣлъ сѣвера — Парижъ, и хорошо ей здѣсь, на балконѣ, въ тепломъ воздухѣ ароматной ночи, когда ночной зефиръ струитъ эфиръ, шумитъ, бѣжитъ Гвадалквивиръ, и женщина, опьяненная серенадой, сбрасываетъ свою ревнивую мантилью. Какъ и Жуану, для Лауры важно *здѣсь*, а не *тамъ*, и *теперь*, а не *потомъ*. Оттого, когда въ это самое мгновенье раздался стукъ въ двери и вошелъ похожій на нее, такой же безусловный, Донъ-Жуанъ, тотъ, настоящій, долго жданный, Лаура сразу кинулась ему на шею, а Донъ-Жуанъ, которому нельзя становиться на дорогѣ, сразу вступилъ съ Донъ-Карлосомъ въ поединокъ и шпагой пронзилъ ему сердце. Женщинъ онъ цѣлуетъ, а мужчинъ убиваетъ, и около мертвыхъ празднуетъ свои вольные браки.

Послѣ убійства Донъ-Карлоса Жуанъ надѣваетъ на себя притворную монашескую рясу и скрывается на кладбищѣ, и уже забылъ о Лаурѣ, и любуется прелестной вдовою командора. Онъ еще не говорилъ съ нею, но сегодня скажетъ ей «что въ голову придетъ, безъ предуготовленья, импровизаторомъ любовной пѣсни». Этимъ онъ точно опредѣлилъ себя и свое обаянье: онъ, дѣйствительно, «импровизаторъ любовной пѣсни», поэтъ серенады; она всегда готова на его вѣчно влюбленныхъ устахъ, и не можетъ женское сердце не откликнуться на пѣвучій зовъ этого трубадура. Но пока онъ споетъ свою Пѣснь пѣсней, онъ, по своему обыкновенію, ходитъ около смерти и смотритъ на статую убитаго имъ командора, замершаго на шпагѣ его, какъ на булавкѣ стрекоза.

Какимъ онъ здѣсь представленъ исполиномъ.
Какія плечи! Что за Геркулесъ!
А самъ, покойникъ, малъ былъ и тщедушенъ.

Всегда монументы больше мертвыхъ. И можетъ быть оттого, Дона-Анна у этого «гордаго гроба» не испытываетъ дѣйствительной скорби (вѣдь и вышла она за командора по приказанію матери), и у могилы мужа слушаетъ вдохновенную импровизацію любви, это безсмертное признанье Донъ-Жуана, стихи упоительной красоты и глубокой, сдержанной, благоговѣйной страсти:

Мнѣ, мнѣ молиться съ вами, Дона-Анна?
Я не достоинъ участи такой.
Я не дерзну порочными устами
Мольбу святую вашу повторять;
Я только издали съ благоговѣньемъ
Смотрю на васъ, когда, склонившись тихо,
Вы кудри черныя на мраморъ блѣдный
Разсыплете—и мнится мнѣ, что тайно
Гробницу эту ангелъ посѣтилъ.
Въ смущенномъ сердцѣ я не обрѣтаю
Тогда моленій. Я дивлюсь безмолвно
И думаю: счастливъ, чей хладный мраморъ
Согрѣтъ ея дыханіемъ небеснымъ
И окропленъ любви ея слезами.

Черныя кудри на блѣдномъ мраморѣ и холодный мраморъ, согрѣтый небеснымъ дыханіемъ, это не только несказанная красота, это и счастье Командора: именно это оживляетъ его статую, именно поэтому она воскресла и сошла со своего пьедестала. И мертвому счастливцу завидуетъ живой Донъ-Жуанъ, потому что вообще живой достойнѣе счастья, нежели мертвый.

Однако, первый поединокъ, въ которомъ Жуанъ не побѣдилъ, это былъ поединокъ съ мертвымъ. Всегда близкій къ смерти и къ ней непочтительный, онъ смерть пригласилъ на пиръ своей любви, на свой беззаконный бракъ,—чтобы она стала у двери на часахъ, на стражѣ его страсти. И смерть пришла (быть можетъ, въ ея лицѣ пришла его правда, его совѣсть) и увела съ собою Донъ-Жуана.

Но вѣдь смерти и молилъ Жуанъ у Доны-Анны. Вѣдь и просилъ онъ, чтобы его «бѣдный прахъ» былъ похороненъ, хотя и не подлѣ праха Командора, не тутъ, не близко, но все же у порога кладбища; вѣдь и хотѣлъ онъ, чтобы легкою ногой своей или одеждой могла коснуться его надгробнаго камня Дона-Анна. Онъ у любимой женщины требовалъ смерти. Онъ говорилъ про себя, что онъ «осужденъ на жизнь». И онъ самъ позвалъ въ гости Командора.

Побѣжденный на поединкѣ (былъ для него Каменный гость

тѣмъ же, чѣмъ самъ онъ былъ для Донъ-Карлоса), Жуанъ достигъ тѣмъ не менѣе единаго на потребу: его полюбила Дона-Анна. Еще до бесѣды на кладбищѣ онъ убѣдился, что она его замѣтила. И сначала пораженная превращеніемъ монаха въ любовника, она скоро въ своемъ женскомъ любопытствѣ спросила его: «и любите давно ужъ вы меня?», и она позвала его къ себѣ. Дона-Анна не знала еще тогда, что это убійца ея мужа; но и когда она узнала это, она, вопреки своему обѣщанію, не вонзила ему кинжала въ сердце, а отдала ему сердце свое. Не могла и она противостоять его словамъ, его непобѣдимому кличу:

Я Донъ-Жуанъ, и я тебя люблю.

Съ этими словами, съ этимъ девизомъ на своемъ рыцарскомъ щитѣ шелъ Донъ-Жуанъ по жизни, и было неотразимо краснорѣчіе любви.

Онъ обѣщалъ отдать свою жизнь за сладкій мигъ свиданья: онъ и отдалъ ее — Каменному гостю, въ ту минуту, когда его поцѣловала Дона-Анна. Тяжело пожатье каменной десницы, но и въ это страшное мгновенье расплаты Донъ-Жуанъ думалъ о Донѣ-Аннѣ, и онъ провалился въ бездну съ именемъ женщины на своихъ влюбленныхъ устахъ. Въ жизни зналъ онъ только любовь и смерть, но любовь сильнѣе смерти, и какъ вѣчный любовникъ живетъ онъ въ памяти и поэзіи человѣчества.

Сцена изъ Фауста.

Фауста Пушкинъ взялъ въ его сходствѣ съ Гамлетомъ, какъ вѣчное размышленіе, какъ существо, покинутое непосредственностью и отданное во власть сухой рефлексіи.

Фаустъ извѣдалъ все, но не принялъ ничего. Тоскующій и неудовлетворенный, онъ прочелъ жизнь отъ первой и до послѣдней страницы, и теперь ему эта книга неинтересна; но даже когда онъ читалъ ее, она не задѣвала въ немъ живыхъ и отзывныхъ струнъ. И ему скучно. Это не временное настроеніе, это не преходящій и случайный штиль души: это—его субстанція, его времяпрепровожденіе, его нравственное ядро. «Мнѣ скучно, бѣсъ». Человѣкъ жалуется бѣсу. Ибо Богъ создалъ міръ и людей,—но Онъ не предвидѣлъ, что въ его мірѣ кому-нибудь изъ людей станетъ скучно. Природа, знаніе, женщина: все къ услугамъ человѣка, но на все это онъ отвѣчаетъ скукой. Это уничтожающая критика. Пусть называютъ міръ какъ угодно—неправеднымъ, злымъ, несовершеннымъ; но почувствовать и сказать, что міръ скученъ, тотъ міръ, надъ ко-

торымъ его творецъ работалъ шесть дней,—этой обиды Богъ человѣку не проститъ. Можно бороться съ богоборчествомъ, съ бунтомъ,—но какъ самолюбію божественнаго автора преодолѣть пренебреженіе, скуку, человѣческую зѣвоту?

Именно потому соперникомъ Богу является бѣсъ, что бѣсъ развлекаетъ. Добро скорѣе наскучитъ, чѣмъ зло. Дьяволъ всегда найдетъ Фаусту способъ какъ-нибудь разсѣяться. И такъ какъ Фаустъ—философъ, то ему разсѣяніе дьяволъ готовитъ въ разсужденіи. Мефистофель философствуетъ. Ему на руку человѣческая неудовлетворенность, и потому, въ своихъ вѣчныхъ ковахъ противъ Бога, онъ только подтверждаетъ, что скука—сущность мірозданія, что въ ея мертвомъ морѣ плаваютъ и тонутъ всѣ умы. «Вся тварь разумная скучаетъ». Привилегія разума дана только для того, чтобы прійти къ скукѣ. Она неизбѣжна,—подъ ея чернымъ флагомъ причалятъ въ конечную пристань всѣ корабли, откуда бы они ни выходили,—отъ дѣла или бездѣлія, отъ вѣры или безвѣрія, отъ наслажденій или воздержанія. «И всякъ зѣваетъ да живетъ»: судорога зѣвоты—такова безнадежная участь всего живущаго. Но и этого мало. Чтобы картина міровой скуки, космическаго унынія вышла еще разительнѣе, Мефистофель прибавляетъ страшныя слова: «и всѣхъ васъ гробъ, зѣвая, ждетъ». Міръ—зіяніе. И оно поглотитъ все живое. Скучно могилѣ съ ея зѣвомъ, гробу съ его пустотой; и отверстая могила, это не что иное, какъ зѣвота смерти. Ей даже неинтересно, смерти, насъ поглощать,—она дѣлаетъ это, зѣвая. Смерть какъ скука,—такого гнетущаго воззрѣнія не высказывалъ еще никто. Но Мефистофель подтверждаетъ справедливость своего міросозерцанія на примѣрѣ Фауста, который для него — сосредоточенное человѣчество; такой мудрый, разумный, Фаустъ—человѣкъ, homo sapiens по преимуществу, и оттого, что́ примѣнимо къ нему, то распространяется и на всѣхъ людей. А ихъ знаетъ Мефистофель: вѣдь дьяволъ—психологъ; онъ славитъ эту науку. Она научила его, что «скука—отдохновеніе души». Но отдыхъ продолжительный, это—смерть, и есть такія души, которымъ не отъ чего отдыхать. Вотъ именно Фаустъ узналъ отдохновеніе души, прежде чѣмъ она поработала. И въ школѣ, и въ пылу вечерняго похмѣлья, среди «благосклонныхъ дѣвъ веселья», и въ темной пучинѣ науки—всегда онъ скучалъ. И теперь, оглядываясь на жизнь, съ которой онъ собралъ такую богатую жатву, онъ однако выноситъ этой жизни смертный приговоръ. Онъ только вѣритъ, что есть одно «прямое благо: сочетанье двухъ душъ». Онъ вспоминаетъ о первомъ свиданіи, о Гретхенъ. Теперь, когда эта дѣвушка, имъ погубленная и опозоренная, лежитъ въ своей насильственной могилѣ, теперь, когда ея любовь и ласки ушли въ

невозвратное прошлое, Фаустъ думаетъ о ней съ умиленіемъ и восторгомъ, и кажется ему, что былъ онъ счастливъ, на прелестной груди покоя томную главу, озаренный чистымъ пламенемъ любви. Вотъ найдено спасеніе отъ скуки, вотъ гдѣ бьетъ неизсякаемый ключъ живой воды. Но весело смотрѣть дьяволу на скучающаго человѣка, и онъ спѣшитъ разсѣять иллюзію Фауста. То, что «въ услужливомъ воспоминаніи», въ его бреду, рисуется какъ счастье, на самомъ дѣлѣ была скука. На любовномъ свиданіи присутствовало не двое, а трое, и третій былъ діаволъ. Это онъ свелъ любовниковъ въ часъ полуночи глубокой и забавлялся плодами своего труда. Гретхенъ, правда, была въ упоеньи,—женщина никогда не скучаетъ. Но Фаустъ

безпокойною душой
Ужъ погружался въ размышленье
(А доказали мы съ тобой,
Что размышленье—скуки сѣмя).

Изъ сѣмени человѣческаго размышленія вырастаетъ скука. Необъятная, неизбѣжимая, все наглухо укутывающая своею пеленой, она обняла Фауста и въ часъ любви; философъ, онъ думалъ въ такое время, «когда не думаетъ никто». Вся тварь разумная скучаетъ—отъ своей разумности, отъ думы. Проклятіе наше въ томъ, что мы всегда разумны. И цѣлуя Гретхенъ, послушнаго агнца, Фаустъ чувствовалъ уже, какъ приближается къ нему ненавистная тоска; и поцѣловавъ Гретхенъ, онъ смотрѣлъ на Гретхенъ «съ неодолимымъ отвращеніемъ». Живыя краски любви потускнѣли, поблекли, и жизнь въ своей высшей потенціи упала все въ ту же бездонную пасть скуки.

Напоминанія объ этомъ со стороны Мефистофеля, т.-е. своего скептицизма, своей рефлексіи, своей скуки, не можетъ вынести Фаустъ, и онъ прогоняетъ «адское творенье», поручивъ ему только, въ припадкѣ все того же чернаго унынія, утопить корабль съ людьми и золотомъ, и шоколатомъ, и болѣзнью.

Пушкинскій Фаустъ принадлежитъ къ числу скучающихъ людей, которые такъ извѣстны нашей литературѣ. Онѣгинъ тоже бо̀льшую часть своей жизни проходилъ зѣвая, и вслѣдъ за нимъ явились и Печоринъ, и тургеневскіе лишніе люди, и лишніе люди Чехова. О нихъ много писали, ихъ много осуждали, но своимъ «Фаустомъ» Пушкинъ намѣтилъ вопросъ о томъ, кто же здѣсь собственно лишній: человѣкъ или міръ. Если скука—это разумность, и разумность—скука, если человѣкъ на нее обреченъ, то несправедливо клеймить его лишнимъ и, можетъ быть, право то скучающее сознаніе, которое, обижая

и осуждая Бога, заявляетъ Ему, что міръ Его—ненужный и тоскливый. И на ряду съ проблемой лишняго человѣка не встаетъ ли основная грѣшная проблема—о лишнемъ Богѣ?..

Пиръ во время чумы.

Страстный, огненный вызовъ Богу, насмѣшка надъ его карами и кощунственное отношеніе къ его смерти ярко проявились и въ этой драмѣ. Какъ извѣстно, она переведена съ англійскаго, но ея драгоцѣннѣйшія страницы—пѣснь Мери и пѣснь Предсѣдателя—составляютъ художественное достояніе самого Пушкина, и именно въ нихъ, какъ мы уже отмѣчали въ общей характеристикѣ поэта, сказывается вся разительная противоположность двухъ міросозерцаній—святой наивности и демонизма.

Сочетаніе пира и чумы, смѣха и смерти такъ жизненно, несмотря на то, что оно такъ дико. Всегда одновременно кто-нибудь пируетъ и кто-нибудь умираетъ. Жизнь неизсякаема, сколько бы ни черпала изъ нея смерть, и скорѣе смерть утомится, чѣмъ жизнь изсякнетъ. Собравшіеся мужчины и женщины веселятся на зло чумѣ. Но для того чтобы это грѣшное ликованіе вспыхнуло еще болѣе яркимъ и зловѣщимъ пламенемъ, чтобы безумнѣе пирующіе обратились къ веселью, Предсѣдатель проситъ Мери спѣть унылую и протяжную пѣсню, оттѣнить ею послѣдующее празднество. И Мери «съ дикимъ совершенствомъ», безъ школы, естественная въ своей природной музыкальности, поетъ свою классическую пѣснь, тихую какъ свирѣль, простую какъ василекъ,—пѣснь, сплетенную изъ элементарныхъ ощущеній дѣвичьяго сердца, обвѣянную деревенской тишиною и трогательной сантиментальностью. Воскресенье, и Божья церковь, и голоса дѣтокъ въ шумной школѣ (благодатный шумъ дѣтей!), серпъ и быстрая коса: все это—чистѣйшая красота умиленія; но тѣсная череда могилъ, жмущихся одна къ другой какъ испуганное стадо, черной тѣнью смущаетъ нѣжную идиллію. И жизнь умолкла, а кладбище ожило—не пустѣетъ, не молчитъ. Но изъ чумной черноты, побѣждая ее, выступаетъ образъ Дженни, воплощенная женская заботливость и любовь. Ее безпокоитъ не то, что, можетъ быть, ранняя могила суждена ея веснѣ, а то, что Эдмондъ, кого она такъ любила, не побоится заразы, приблизится къ ея тѣлу, коснется ея умершихъ устъ. Въ своемъ вѣчномъ снѣ, скошенный весенній цвѣтокъ, какъ счастлива была бы она послѣднимъ цѣлованіемъ возлюбленнаго; но, въ смерти помня о живомъ, она проситъ его слѣдовать издали за ней. Она жаждетъ близости, но самоотверженно молитъ о дали. Въ раннюю могилу ляжетъ ея

весна, но не объ этомъ она жалѣетъ; изъ-за гроба продолжая свою заботу о любимомъ живомъ, она хочетъ, чтобы онъ разсѣялся, развлекся, чтобы онъ оставилъ зачумленное селенье:

Уходи куда-нибудь,
Гдѣ бъ ты могъ души мученье
Усладить и отдохнуть.

За эту любовь, за это женское безпокойство, за эту неумирающую ласковость она проситъ, чтобы, когда зараза минетъ, Эдмондъ посѣтилъ ея бѣдный прахъ. Она готова на разлуку, но только не на вѣчную. Пока опасно, пусть возлюбленный будетъ вдали; но когда опасность пройдетъ, когда зараза минетъ, когда будетъ можно,— о, пусть онъ придетъ на ея раннюю могилу, желанный гость изъ жизни, пусть онъ вздохнетъ объ ея безвременно отцвѣтшей веснѣ! Она же, она никогда не забудетъ:

А Эдмонда не покинетъ
Дженни даже въ небесахъ!

Чтобы эту пѣсню сложить и спѣть, надо вѣрить въ Бога, въ небеса, въ Эдмонда, надо дѣтской душою принимать міръ и молиться въ воскресенье чистыми устами,—когда церковь Божія полна.

Унылая и пріятная пѣснь задумчивой Мери производитъ и на пирующихъ во время чумы, и на всѣхъ слушателей-читателей тѣмъ большее впечатлѣніе, что поетъ ее одна изъ сестеръ печали и позора, та, которая не убереглась отъ жизненной чумы и въ безднѣ города такъ непохожа стала на свою сестру, на деревенскую Дженни. И милая Мери, воистину «погибшее, но милое созданье», сама растрогана своею пѣснью и сладкой мукой чуднаго воспоминанія.

О, если бъ никогда я не пѣвала
Внѣ хижины родителей своихъ!
Они свою любили слушать Мери;
Самой себѣ я, кажется, внимаю
Поющей у родимаго порога...

Но пиръ безбожія и разврата продолжается, и только на мигъ смущаетъ его проѣхавшая телѣга, наполненная мертвыми тѣлами и управляемая негромъ: «эта черная телѣга имѣетъ право всюду разъѣзжать». Упала въ обморокъ Луиза, потому что ей—на яву или во снѣ—показался ужасный демонъ, весь черный, бѣлоглазый: міровой негръ смерти. Для того чтобы разсѣять впечатлѣніе смертной телѣги, Предсѣдатель вслѣдъ за Мери поетъ свою пѣснь, свой гимнъ въ честь чумы. Никогда раньше не писалъ онъ стиховъ и первыя риѳмы

свои отдалъ кощунству. Еще не отзвучали тихіе и мелодичные звуки бѣлокурой Мери, какъ Предсѣдатель, своимъ охриплымъ голосомъ усиливая впечатлѣніе кошмара, начинаетъ пѣть и славить чуму. Какое разстояніе отъ Мери, и послѣ зеленой привѣтливой долины какая разверзается передъ нами бездна безумія!

Вальсингамъ сравниваетъ чуму съ зимою, съ «косматыми» дружинами снѣговъ и морозовъ, которыя человѣкъ побѣждаетъ уютомъ своихъ каминовъ, жаромъ своихъ пировъ. Но зима—правило природы, а чума—ея черное исключеніе. Зима обычна, чуму посылаетъ Богъ за грѣхи: Вальсингамъ не хочетъ видѣть этой разницы. Чума для него—богиня мертваго плодородія, Церера смерти; она «льстится жатвою богатой и къ намъ въ окошко день и ночь стучитъ могильною лопатой». Какъ помочь? Возславить чуму, принять проклятіе, утопить умы въ весельи. Богу, пославшему страхъ, отвѣтить смѣхомъ. Не испугаться кары и превратить ее въ праздникъ. И это возможно, потому что такое отношеніе къ ужасу и гибели заложено въ самой психологіи человѣка. Кромѣ инстинкта самосохраненія, въ насъ могучъ и инстинктъ самоуничтоженія.

Есть упоеніе въ бою
И бездны мрачной на краю,
И въ разъяренномъ океанѣ
Средь грозныхъ волнъ и бурной тьмы,
И въ аравійскомъ ураганѣ,
И въ дуновеніи чумы!

Смертное сердце не только трепещетъ смерти, но и полно къ ней любопытства. Опасность дразнитъ и привлекаетъ; въ мукахъ есть неизъяснимыя наслажденья: «безсмертья, можетъ быть, залогъ». Человѣкъ, не вѣря въ свою конечную смерть и ее искушая, идетъ на ужасъ (и Татьяна тайную прелесть находила въ самомъ ужасѣ); и счастливы тѣ, кто, въ утонченности своихъ ощущеній, извѣдалъ эти противорѣчія природы, антиноміи духа, всѣ эти ночи Египетской Клеопатры (удивительны у свѣтлаго Пушкина этотъ демонизмъ и будущіе мотивы Достоевскаго!). И раскрывая все дальше и дальше экстатическія глубины обезумѣвшаго сердца, поэтъ устами Вальсингама шлетъ хвалу чумѣ; а хвала чумѣ, это—хула Богу. Наслажденіе въ гибели, благодатный ядъ вина, дыханіе дѣвы-розы, быть можетъ—полное чумы: на краю этой мрачной бездны дьявола стоитъ Предсѣдатель и торжествуетъ, что онъ посмѣялся чумѣ, совершилъ поруганіе надъ смертью, обезоружилъ Бога.

И потому онъ отвергаетъ священника, служителя Бога. Онъ знаетъ, что священникъ правъ; но въ упоеніи своей неправотой,

своей ирраціональностью и своимъ дерзостнымъ беззаконіемъ, онъ въ отчаяніи и безуміи, истязая самого себя, любуясь ужаснымъ зрѣлищемъ своего паденія, не хочетъ прервать бѣшеныхъ веселій и уйти съ пира во время чумы. Такъ сладко около самой смерти устроить свою оргію. Онъ съ какимъ-то сладострастьемъ дѣлаетъ себя все хуже и хуже и, на видъ, остается равнодушенъ и къ упоминанію о Христѣ, и къ упоминанію о матери. Только имя Матильды, жены похороненной, заставляетъ его чистымъ стыдомъ устыдиться своего грѣха и разврата. Не выдержали его глаза ослѣпительнаго сіянія святыни, которую внезапно открылъ передъ нимъ священникъ, и изъ своего ада кромѣшнаго, изъ своей нравственной чумы, онъ съ отчаяніемъ и тоскою видитъ свою жену, «святое чадо свѣта»,—онъ видитъ ее въ раю, тамъ, куда не досягнетъ уже его падшій духъ. Отъ безсмертныхъ очей жены хотѣлъ бы онъ скрыть зрѣлище самого себя, и онъ заклинаетъ священника не называть этого имени:

Клянись же мнѣ, съ поднятой къ небесамъ,
Увядшей, блѣдною рукой, оставить
Въ гробу навѣкъ умолкнувшее имя.

Въ разгарѣ своего богохульства Предсѣдатель человѣческой оргіи былъ потрясенъ напоминаніемъ служителя стараго Бога; но все-таки за священникомъ онъ не пошелъ, его зова не послушался; наоборотъ, это онъ сказалъ священнику: «отецъ мой, ради Бога, оставь меня!» Онъ во имя Бога просилъ оставить его одного со своимъ безбожіемъ, и священникъ, уходя, воскликнулъ: Спаси тебя, Господь! Такъ причудливо сочетались здѣсь божественное и безбожное,—сплетеніе противорѣчій. Но какъ бы то ни было, ушелъ священникъ, а не Вальсингамъ, пѣсня Мери заглушена пѣснью Предсѣдателя, и хотя онъ погруженъ въ глубокую задумчивость, но его сотоварищи остались безъ Бога, безъ священника, одни, лицомъ къ лицу со смертью, съ чумою, и пиръ во время чумы продолжается...

Борисъ Годуновъ.

Одинъ изъ близкихъ знакомыхъ Пушкина, П. А. Катенинъ, сказалъ про «Бориса Годунова», что «это не драма отнюдь, а кусокъ исторіи, разбитый на мелкіе куски въ разговорахъ». Критикъ отчасти правъ; невѣрно лишь то, будто здѣсь—внѣшняя раздробленность. «Годуновъ» не драма, но и не «кусокъ». Онъ внутренне пропитанъ русской исторіей; поэтъ сконденсировалъ ее, любовно извлекъ изъ памятниковъ и преданій и претворилъ въ живые образы. На самыхъ

словахъ, важныхъ и серьезныхъ, на ихъ выборѣ и расположеніи отпечатлѣлась родная старина, почилъ ея духъ: онъ таится въ самыхъ складкахъ пьесы, несмотря на ея шекспировскій складъ; онъ ее насыщаетъ, и она, дѣйствительно, Русью пахнетъ. Читая ее, вы чувствуете, какъ заговорила, задвигалась исторія, вы ощущаете самое біеніе ея. Даже не только тѣ, кто участвуетъ въ трагедіи, но и тѣ, о комъ она вспоминаетъ, облекаются передъ нами въ плоть и кровь, и происходитъ чудо воскрешенія. Когда Пименъ говоритъ о Грозномъ, вы видите и слышите Грознаго. Вотъ онъ, «усталый отъ гнѣвныхъ думъ и казней», со своей душой, «страдающей и бурной», мучитель и мученикъ; вотъ онъ, мечущійся между дворцомъ и монастыремъ, кромѣшникъ и чернецъ. И такъ во всей «Комедіи о царѣ Борисѣ и о Гришкѣ Отрепьевѣ» исторія живетъ; она изъ прошлаго передвинулась въ настоящее и дышитъ его теплымъ дыханіемъ.

Но, кромѣ того, Катенинъ не замѣтилъ, что историческое, частное стало у Пушкина общимъ, время—вѣчностью, и то человѣческое преступленіе, которое сохранилось на памяти исторіи, поэтъ изобразилъ не только какъ событіе русской жизни, но и какъ міровое явленіе совѣсти, которая всегда привлекала его художественное вниманіе. Потрясенная совѣсть Бориса, это—моментъ, не укладывающійся ни въ какія историческія рамки, это идетъ за предѣлы всякой конкретной эпохи. Если для Годунова такъ тяжела была шапка Мономаха, то это не потому, что онъ изнывалъ подъ ея естественнымъ бременемъ, а потому, что она была чужая и была снята съ головы убитаго младенца; Борисъ былъ царемъ незаконнымъ, такъ что самозванецъ пошелъ противъ самозванца.

Наконецъ, мы, современники, видимъ то, чего не могъ видѣть Катенинъ: мы знаемъ, что въ «Борисѣ Годуновѣ» Пушкинъ, до Ибсена, затронулъ излюбленную ибсеновскую проблему—борьбу за престолъ. Вѣдь то «сіяніе престола», которое вначалѣ какъ-будто отпугивало Бориса,—вѣдь оно ослѣпило глаза многихъ героевъ пьесы и многіе изъ нихъ — страстные претенденты на тронъ. Димитрій и Лжедимитрій, Годуновъ и его сынъ, Шуйскій и Басмановъ, Марина и даже Пименъ — всѣ они на разные лады и съ разной степенью напряженности и сознательности воплощаютъ собою одну изъ глубокихъ и вѣчныхъ психологическихъ категорій—стремленіе къ первенству, желаніе власти и мощи.

Даже Пименъ... Онъ сидитъ и пишетъ свое послѣднее сказанье и потомъ разговариваетъ съ Григоріемъ. Это одна изъ самыхъ глубокомысленныхъ сценъ во всей художественной литературѣ. Это бесѣда человѣческой старости съ молодостью. Пименъ въ прошломъ былъ Григорій. Если не сотворитъ благочестивый монахъ молитвы

долгой къ ночи, его старый сонъ не тихъ и не безгрѣшенъ (какъ трогательно!), и чудятся ему то шумные пиры, то ратный станъ, то схватки боевыя, безумныя потѣхи юныхъ лѣтъ. И онъ знаетъ, что такое «женская лукавая любовь»,—онъ долго жилъ и многимъ насладился; у него была своя Марина. Теперь, въ кельѣ Чудова монастыря, когда уже догораетъ его тихая лампада, онъ далекъ отъ своего юнаго безумства; но въ дѣйствительности грѣшная явь Григорія и небезгрѣшный сонъ Пимена, это—явленія одного порядка. Пименъ тоже когда-то стремился къ трону, испытывалъ обаяніе мірскихъ чаръ,—а теперь, благодарный Богу за книжное искусство и за долгую жизнь (долголѣтіе обязываетъ), онъ свой престолъ воздвигнулъ въ кельѣ; свои верховныя и властолюбивыя надежды, свою мечту онъ претворилъ въ молитву, преодолѣлъ бурныя потѣхи юныхъ лѣтъ и сдѣлался лѣтописцемъ, не царемъ, а свидѣтелемъ о царяхъ. Онъ отказался не только отъ власти, но и отъ имени, и трудъ его—«безъимянный». И вотъ онъ сидитъ передъ угасающей лампадой и пишетъ, — его святая грамотность! Она дала ему вторую жизнь, безсмертіе на землѣ, и доносятся къ нему замирающіе отголоски прежнихъ словъ и блѣднѣющія очертанія прежнихъ лицъ—послѣдніе всплески жизненнаго моря-океана. Историкъ воскрешаетъ и воскресаетъ.

Изъ другихъ претендентовъ на престолъ самымъ достойнымъ является, конечно, Григорій. Онъ скучалъ монашеской неволей, и при видѣ черныхъ рясъ мутили его душу черныя грезы, какъ онъ самъ говоритъ «злому чернецу». Онъ хотѣлъ стряхнуть съ себя ненавистный и тѣсный клобукъ, и вотъ изъ кельи онъ взошелъ на тронъ. Свой внутренній цезаризмъ, присущій каждой сильной личности, онъ развилъ, осуществилъ; достигъ онъ высшей власти. Правда, у Пушкина Григорій больше выступаетъ какъ мститель Борису, какъ воздаятель цареубійства, чѣмъ какъ самостоятельный искатель престола; но его нравственная сущность несомнѣнно—въ томъ, что, независимо отъ всякихъ замысловъ быть мірскимъ судьей Годунова, его манитъ величіе царскаго вѣнца, та ибсеновская башня власти, на которую онъ въ своемъ троекратномъ вѣщемъ сновидѣніи взбирался по лѣстницѣ крутой. Онъ — воплощенное возмездіе Борису, въ его самозванствѣ есть нѣкоторая этика; но, конечно, Борисомъ въ Григоріи возмущенъ не моралистъ, а притязатель на тронъ, и не жребій несчастнаго младенца, а успѣхъ ставитъ онъ въ вину Годунову. Случайное обстоятельство, то, что царевичъ убіенный былъ бы ровесникомъ Григорію, было лишь послѣдней каплей въ чашѣ его властолюбія; но, можетъ быть, безъ этого и безъ другихъ внѣшнихъ стимуловъ Григорій, какъ и многіе

скрывающіеся въ жизни претенденты на престолъ, остался бы внизу, во тьмѣ и тишинѣ. Недаромъ онъ самъ замѣчаетъ о себѣ, что успѣлъ бы на старость лѣтъ

Отъ суеты, отъ міра отложиться,
Произнести монашества обѣтъ
И въ тихую обитель затвориться.

Если, какъ мы сказали, Пименъ въ прошломъ былъ Григорій, то вѣрно и то, что Григорій — возможный будущій Пименъ. Но закружило его въ своемъ вихрѣ тяготѣніе къ первенству и престолу. И до такой степени сроднился онъ съ мечтою о коронѣ, такъ глубоко запали ему въ душу его собственныя слова (удивившія патріарха): «буду царемъ на Москвѣ», что полетомъ своей мечты, силой своей воли онъ сдѣлалъ себя достойнымъ тронныхъ ступеней. Онъ не обманщикъ, онъ самъ повѣрилъ своей дерзкой выдумкѣ, и самозванный сталъ званнымъ. Онъ не робокъ, не слабъ; онъ быстро входитъ въ свою новую, царскую роль, потому что мысленно игралъ ее давно и надѣвалъ на себя корону еще тогда, когда подавалъ костыль старому Пимену. Онъ—«воръ», похититель имени, «а молодецъ». И характеризуетъ его Аѳанасій Пушкинъ: «онъ уменъ, привѣтливъ, ловокъ, но нраву всѣмъ». И въ концѣ концовъ — кто знаетъ, можетъ быть онъ и въ самомъ дѣлѣ не Лжедимитрій, а Димитрій?..

Но въ сценѣ у фонтана, на этомъ дивномъ поединкѣ мужчины и женщины, Григорій повелъ себя какъ любовникъ, а не какъ царь. Онъ говорилъ Маринѣ про свои доблести,

Достойныя московскаго престола,
Достойныя руки твоей безцѣнной,—

но изъ двухъ этихъ міровыхъ магнитовъ, женской руки и царскаго престола, бо́льшую силу для него возъимѣла первая, и потому она его «чуть-чуть не погубила». Марина и самборскій замокъ Мнишка были его Капуей, и прервалъ онъ свою борьбу за царственную власть, своей судьбы заботы и тревоги. Женщина затмила для него блистаніе трона, сдѣлала его равнодушнымъ къ вѣнцу, и въ этомъ— грѣхъ претендента на престолъ, потому что царь долженъ быть одинъ, не долженъ призывать къ себѣ жены и въ одну телѣгу впрячь не можно коня и трепетную лань. И за то, что Самозванецъ, однажды поднявшись на царскую высоту, не могъ на ней удержаться, онъ потерпѣлъ глубокую кару, внутреннее возмездіе: за свою ложь онъ встрѣтилъ и ложную любовь, искусственное чувство,—обманъ за обманъ! Марина любила не его, а его мнимое

имя, и онъ долженъ былъ бы «дѣлиться съ мертвецомъ любовницей, ему принадлежащей». Нельзя безнаказанно мѣнять свое имя, потому что къ нему мистически присоединена и самая судьба наша; всякое переименованіе — самозванство, и оно влечетъ за собою трагическую путаницу и смѣшеніе сердецъ.

Марина была больше претенденткой на престолъ, чѣмъ Григорій; она была послѣдовательнѣе его въ своей надменной узости и въ безлюбовности своего холоднаго сердца. Она хотѣла только тронныхъ ступеней, будущая «московская царица»; она грезила только о престолѣ, и если бы на пути къ нему, какъ это обычно, ей надо было убить нѣсколько людей, она бы это сдѣлала безъ всякаго содроганія, и ее, въ противоположность Борису, не мучила бы совѣсть, такъ какъ совѣсти у нея не было. Не напрасно противъ «женской лукавой любви» предостерегалъ не только Пименъ, но и Борисъ:

О, милый сынъ! Ты входишь въ тѣ лѣта,
Когда намъ кровь волнуетъ женскій ликъ;
Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость.

Герой преступленія и страданія, тяжко шелъ Годуновъ, новый претендентъ на престолъ, по своей окровавленной тропѣ, но и эту тернистую дорогу пересѣкло ему его прошлое, которое вообще никогда не проходитъ, а въ данномъ случаѣ явилось въ лицѣ Самозванца. Пустое имя, тѣнь можетъ сорвать беззаконную порфиру, если въ это имя, «какъ въ ризу украденную», облекается преступное прошлое. «Димитрій живъ», потому что живо прошлое, жива совѣсть. Неспокойная, она сдѣлала изъ дочери Годунова «въ невѣстахъ ужъ печальную вдовицу», не успокоила его среди мірскихъ печалей и огненными буквами зажгла передъ нимъ Димитрія воскреснувшее имя. Къ Борису вышли мертвые изъ гроба для страшнаго допроса, а раньше тринадцать лѣтъ сряду все снилося ему убитое дитя. Свое неправое стяжанье хотѣлъ Годуновъ укрѣпить въ своемъ сынѣ, цѣной своего преступленья купить его правоту,—но за грѣхи отцовъ Богъ наказываетъ и дѣтей. Сынъ дороже былъ Годунову душевнаго спасенья; но погибли одинаково и незаконный царь, и его законный наслѣдникъ. И въ послѣдній часъ своей жизни принялъ Борисъ святое постриженье:

Въ монахи царь идетъ—
И темный гробъ моею будетъ кельей.

Въ монахи царь идетъ. Притязаніе на престолъ закончилось об-

щею для всѣхъ людей монашескою кельей—темной тѣснотою гроба; и въ ней же, въ монастырѣ смерти, обрѣтаетъ каждый и свое подлинное, свое неоспоримое, свое вѣчное царство.

Русалка.

Въ драгоцѣнномъ отрывкѣ «Русалки» намъ хотѣлось бы отмѣтить только то, что самое реальное и самое фантастическое, быть и миѳологія, соединены здѣсь между собою въ глубокой и необходимой внутренней связи. Переходъ отъ людей къ русалкамъ, отъ земного царства къ подводному, отъ мельника къ царицѣ, совершился такъ незамѣтно, что ему не удивляешься. И въ самомъ дѣлѣ, вѣдь это искусственно разграничивать жизнь и живыя существа на какіе-то особые міры, когда ихъ всѣ обнимаетъ міръ единый. Измѣна возлюбленнаго, событіе человѣческое, превращаетъ дѣвушку въ русалку; значитъ, природа не равнодушна, не безразлична къ тому, что дѣлается у насъ, и природа—наше продолженіе, какъ мы—ея.

Оттого и внѣшняя форма пьесы мѣняется, но подъ своими измѣнчивыми складками скрываетъ одну и ту же сущность. Рѣчи мельника и его дочери въ первой сценѣ — предѣлъ простоты; здѣсь поэзія точно устыдилась своей красы, хотѣла скрыть ее, какъ закрываетъ руками свое лицо скромная красавица, и выдала себя за прозу—заговорила самой обыкновенной, самой будничной, самой простонародной рѣчью; но ей, застѣнчивой, не удалось осуществить своего намѣренія, и съ первыхъ же словъ мы услыхали, что это—поэзія. У Пушкина она явственна даже подъ шапкой-невидимкой. Но отъ этой простоты, отъ будней, отъ плутоватой практичности мельника мы скоро уйдемъ на берегъ Днѣпра, въ романтическую лунную ночь, когда веселой толпою съ глубокаго дна всплываютъ русалки, поютъ свои мелодичныя пѣсни и сушатъ свои зеленые волосы. И самъ мельникъ обратится въ ворона, и тогда уже будетъ онъ отецъ вѣщей дочери: не только съ фантастикой, но и съ безуміемъ сплетается дѣйствительность. Однако останутся всѣ прежнія категоріи: будетъ внучка, и она станетъ ухаживать за дѣдомъ-вороном, и будетъ выносить ему вмѣсто денегъ пригоршню раковинокъ самоцвѣтныхъ. Все начавшееся продолжается и только принимаетъ разные облики.

Князь измѣнилъ простой дѣвушкѣ, — это такъ обычно. Онъ хотѣлъ откупиться золотомъ и ожерельемъ, но дѣвушка бросилась въ рѣку,—это такъ обычно. Почему же однако здѣсь не конецъ всей обыкновенной исторіи? Именно потому, что ничего на свѣтѣ не кончается; не прошли и чувства героевъ. У князя осталось угрызеніе

совѣсти, у дочери—месть къ проклятой разлучницѣ, змѣѣ-злодѣйкѣ, у мельника—отцовское страданіе. Душа продолжается,—оттого и драмѣ не конецъ. И чувство не только уносится здѣсь далеко за предѣлы событія, но въ своемъ развитіи оно принимаетъ и иной характеръ, даже переходитъ въ свою противоположность: прежде чѣмъ мельничиха кинулась въ Днѣпръ, она бросила туда свой вѣнецъ, «вѣнецъ позора», развѣнчалась съ княземъ, и уже не любящая, а ненавидящая отдала себя днѣпровскимъ волнамъ.

Отсюда и все дальнѣйшее. На свадебномъ пиру, гдѣ Пушкинъ развернулъ такую яркую національную картину, гдѣ онъ такъ художественно оживилъ старую Русь и русскую свадьбу съ ея сватами и дружками,—на этомъ пиру совѣсть князя слышитъ пѣсню о томъ, какъ красна дѣвица утопилась, утопая, мила друга проклинала. Невидимо присутствуетъ проклинающая мельничиха; но она не только проклинаетъ: она еще любитъ, и слышенъ былъ ея ревнивый крикъ, когда молодые поцѣловались, чтобы подсластить горькій медъ.

Княгиня (образъ тихій и кроткій) вышла замужъ за чужого мужа, за мужа мельничихи, и оттого она тоже несчастна, она раздѣляетъ участь своей побѣжденной соперницы; любовница и жена, простая и знатная, сошлись въ общей долѣ: князь не любитъ княгини и съ нею не ласковъ. И это знаменательно, что у княгини нѣтъ дѣтей, а у Русалки есть дочь, есть княжна. Будущей матерью кинулась мельничиха въ Днѣпръ, и тамъ родилось у нея дитя, такъ что женѣ-разлучницѣ, женѣ незаконной, Богъ дѣтей уже не послалъ.

А князя невѣдомая сила, неотразимая сила воспоминаній и совѣсти, влечетъ къ грустнымъ берегамъ, гдѣ прежде росло его счастье, отъ котораго онъ такъ вѣтрено отказался,—туда, гдѣ его, свободнаго, нѣкогда встрѣчала свободная любовь. Напрасно онъ послушался не сердца, а чужихъ разсчетовъ и разговоровъ, напрасно онъ ушелъ отъ народа къ знати,—онъ этимъ только погубилъ себя и другихъ. Развалилась мельница, заглохла тропинка, помѣшался человѣкъ,—вотъ только садикъ разросся кудрявой рощей. Съ завѣтнаго дуба, который осѣнялъ когда-то его свободную любовь, какъ пепелъ, падаютъ на измѣнника листья; они вдругъ поблекли и свернулись отъ его приближенія, отъ присутствія соблазнителя; и дубъ стоитъ передъ княземъ голъ и черенъ, какъ дерево проклятое, какъ Анчаръ,—какой прекрасный символъ для любви оскорбленной, отвергнутой, отравленной, и для прошлаго, которое поблекло и превратилось въ прахъ!

Развалившаяся мельница, заглохшая тропинка, обезумѣвшій мель-

никъ—во всемъ этомъ виноватъ князь. Особенно потрясаетъ его, растравляетъ муки его раскаянія, зрѣлище безумія. «Человѣкъ, лишенный ума, становится не человѣкомъ... Богъ его не судитъ»; такъ своеобразно и глубоко намѣчена этимъ граница несчастія: не быть объектомъ Бога, не стоять на Божьемъ судѣ, совсѣмъ даже не числиться въ мірѣ.

Къ князю въ тоскѣ его угрызеній мстительная Русалка (она никому ничего не простила, даже отцу, котораго она называетъ безумнымъ скрягой),—Русалка посылаетъ его дочь, «прекрасное дитя». Оно нѣжно приласкается къ князю, своему отцу, и заманитъ его въ воду, потому что туда принесла мельничиха съ земли свою страсть и месть: она не можетъ простить, холодная и могучая русалка, что князь ее покинулъ и «на женщинѣ женился». Что же, погубитъ ли дитя своего отца? Мы этого не знаемъ,—отрывокъ обрывается; мы даже не слышали, что̀ отвѣтила русалочка на вопросъ князя. Драма не дописана, и намъ неизвѣстно, какъ закончилось въ подводномъ царствѣ то, что началось на землѣ. Но только одно мы знаемъ—и подтвержденіе этому даетъ «Русалка»,—что съ нашей смертью не проходятъ наши романы. Безсмертіе страстей и желаній, и чувствъ, перенесеніе человѣческаго содержанія въ новыя формы показано у Пушкина такъ своеобразно и такъ убѣдительно, что невольно скажешь: да, міръ продолжается, и однажды сотканная, уже никогда не распустится живая ткань человѣческой души.

Евгеній Онѣгинъ.

Мы много на своемъ вѣку читали романовъ, но ихъ сложная и прихотливая структура не можетъ заслонить въ нашей памяти и сердцѣ тѣхъ простыхъ и чистыхъ линій, въ какихъ движутся любовь и печаль «Евгенія Онѣгина». Эти двѣ пары, Татьяна и Онѣгинъ и Ольга и Ленскій, а за ними милая чета Лариныхъ, живутъ въ душѣ русскаго читателя какими-то родными тѣнями; но кто изъ нихъ молодъ, тѣ молодыми въ ней и остались, обвѣянные дыханіемъ тихой грусти, сладкой меланхоліи. Въ этомъ романѣ поэзія Пушкина сказала самое характерное свое слово, потому что здѣсь она претворила въ красоту предѣлы будничнаго существованія, элементарное и обыкновенное, то, мимо чего другіе прошли бы не глядя и равнодушно. Мы видѣли, на предъидущихъ страницахъ нашего очерка, величіе Пушкина въ такихъ произведеніяхъ, сюжеты которыхъ взяты не изъ обычной среды и герои которыхъ переживаютъ рѣдкія по своей тонкости и сложности душевныя настроенія; и тамъ, въ этихъ поэмахъ и драмахъ, при всемъ ихъ внутреннемъ реализмѣ, обстановка и колоритъ,

рѣчи и событія проникнуты духомъ романтики и фантастики,—а здѣсь, въ «Евгеніи Онѣгинѣ», поэтъ прикоснулся къ быту, къ родной обыденности, и не только самъ одержалъ надъ нею высокую художественную побѣду, но и проложилъ дорогу послѣдующимъ авторамъ, сдѣлался родоначальникомъ русскаго жанра, предварилъ мотивы Сергѣя Аксакова, Толстого, Гончарова и, въ соединеніи съ этимъ, всю прекрасную женственность Тургенева. Онъ байроновскій методъ, эту сверкающую игру мыслей, капризы и прихоти живой субъективности, лирику отступленій, примѣнилъ къ прозѣ, къ деревнѣ, и такое сочетаніе новой, революціонной формы съ содержаніемъ, по существу консервативнымъ, оказалось однимъ изъ самыхъ плѣнительныхъ явленій міровой словесности. Призвать Байрона для того, чтобы просто пересказать простыя рѣчи отца иль дяди-старика, преданья русскаго семейства, нравы нашей старины, дѣтей условленныя встрѣчи у старыхъ липъ, у ручейка (вотъ онѣ гдѣ начинаются, эти тургеневскія липы),—такую смѣлость и свободу духа могъ позволить себѣ только нашъ единственный, нашъ божественный Пушкинъ. Но и этого мало: консерватизмъ блещущаго новизною «Евгенія Онѣгина»—не только въ содержаніи; онъ идетъ гораздо глубже. Мятежный Байронъ призванъ не только въ сотрудники мирной бытовой картины, но и для совмѣстнаго славословія въ честь патріархальнаго міросозерцанія, въ честь бабушкиной морали,—для того чтобы создать апоѳеозъ Татьянѣ и вложить въ ея чистыя и честныя уста:

Но я другому отдана:
Я буду вѣкъ ему вѣрна.

И выдержала бабушкина мораль испытаніе байроновскаго духа и показала, что кромѣ стараго и новаго еще есть надъ ними—вѣчное.

Изъ быта выросли души героевъ «Онѣгина», и оттого Пушкинъ быту удѣлилъ такъ много вниманія, такъ много юмора и ласки.

Самъ Евгеній—сынъ своей среды, воспитанникъ своего гувернера. Monsieur l'Abbé, французъ убогій, чтобъ не измучилось дитя, училъ его всему шутя (еще раньше этотъ вопросъ о переутомленіи учащихся встревоженно подняла госпожа Простакова, изъ любви къ сыну); и моралью строгой не докучалъ ему monsieur,—вѣроятно потому, что и самъ не обремененъ былъ ею. Пройдя эту легкую и скорую школу, Онѣгинъ сталъ жить, и такъ какъ Пушкинъ вмѣстѣ съ нимъ продѣлываетъ его день, его жизнь, его романъ, то мы и знаемъ каждый шагъ «молодого повѣсы» съ утра и до вечера, и этому ознакомленію только помогаетъ, его оттѣняетъ, что словоохотливый поэтъ, «влюбленный говорунъ», вмѣшивается въ свой разсказъ своею лирикой, благословенно-«болтливой лирою своей».

Развѣ это мѣшаетъ, что въ театрѣ—не только Онѣгинъ, «почетный гражданинъ кулисъ», но и Пушкинъ, который тоже когда-то любовался на полетъ русской Терпсихоры, а теперь не находитъ знакомыхъ лицъ на сценѣ скучной, на скучной сценѣ міра, и уже смотритъ на нее въ «разочарованный лорнетъ»? Театръ ужъ полонъ, въ райкѣ нетерпѣливо плещутъ (въ райкѣ всегда нетерпѣливы); и танцуетъ полувоздушная Истомина, на которую указалъ Пушкинъ и которая отъ этого стала безсмертной въ своемъ танцѣ: когда ни вспомнишь о ней, все летитъ она какъ пухъ отъ устъ Эола и быстрой ножкой ножку бьетъ. Но Онѣгину, который и вправду разочарованъ, и считаетъ своимъ долгомъ быть разочарованнымъ, ничто не нравится; онъ идетъ межъ креселъ по ногамъ (что ему чужія ноги?), свой лорнетъ онъ наводитъ на дамъ «скосясь», результатами осмотра ужасно недоволенъ, на сцену глядитъ въ большомъ разсѣяньѣ, сейчасъ же отворачивается отъ нея и зѣваетъ. Онъ покидаетъ театръ; за нимъ идетъ его спутникъ, его Вергилій и, мимоходомъ, раздробляя дѣйствительность, чтобы сейчасъ же опять собрать ее воедино, но уже осмысленную и освѣщенную, уже оцоэтизированную,—послѣ амуровъ, чертей и змѣй, небрезгливо и благодушно подмѣчаетъ то, чего самъ Онѣгинъ во вѣки не удостоилъ бы взглядомъ,—весь этотъ живой кусокъ русской прозы и характерности:

Еще усталые лакеи
На шубахъ у подъѣзда спятъ,
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Вездѣ блистаютъ фонари;
Еще, прозябнувъ, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера вокругъ огней
Бранятъ господъ и бьютъ въ ладони...

Онѣгинъ разочарованъ. Однако на балъ онъ «скачетъ стремглавъ», въ ямской каретѣ, и по мраморнымъ ступенямъ «стрѣлой взлетаетъ» мимо швейцара, и послѣ трехчасовой бесѣды съ зеркаломъ еще и здѣсь расправляетъ волосы: очевидно, не легко быть философомъ въ осьмнадцать лѣтъ. А великолѣпный домъ со своими цѣльными окнами, усѣянный плошками, блеститъ одинъ на сонной улицѣ, и, дополняя картину стараго Петербурга, свѣтятся передъ померкшими домами двойные фонари каретъ.

Мы не знаемъ, какія впечатлѣнія переживаетъ на балу Онѣгинъ, но сопровождающій его поэтъ любитъ «до сихъ поръ» эту бѣше-

ную младость и тѣсноту, и блескъ, и радость, и летающія ножки, которыя онъ такъ восторженно и элегически поетъ въ знаменитомъ отступленіи (конечно, всѣ эти отступленія—только внѣшнія, по своему же внутреннему смыслу они—все та же единая дорога красоты). Въ шумѣ и тѣснотѣ, въ ревѣ скрипокъ, въ веселомъ аду бала Пушкинъ въ типичномъ для него сочетаніи общительности и уединенности остается въ своемъ внутреннемъ мірѣ и по плѣнительнымъ слѣдамъ ножекъ уносится въ далекія воспоминанія. И вотъ наступаетъ волшебство поэзіи: нѣтъ бала, нѣтъ Петербурга, а есть восточная нѣга и роскошное прикосновеніе ковровъ, и есть луга съ вешними цвѣтами, которые покорно ложатся подъ легкіе шаги женскихъ ногъ, и есть море предъ грозою; и вся эта гроза—ради женщины, вся эта бурная череда волнъ бѣжитъ только для того, чтобы укрощенными съ любовью лечь къ ея ногамъ,—и не знаешь, кто болѣе страстенъ, эти влюбленныя волны или завидующій имъ поэтъ, который вмѣстѣ съ ними хотѣлъ бы коснуться милыхъ ногъ своими жадными, своими пылкими устами... И звучитъ, звучитъ изъ этихъ устъ юношеская, прекрасная въ своей безстыдности, упоенная хвала женщинѣ, ея груди, ея ланитамъ, ея ножкѣ, пока не прерываютъ огненнаго восхищенія пробудившаяся тоска и разочарованіе, и ропотъ увядшаго сердца; и уже обманчивыми кажутся сердца и ножки волшебницъ, и очнулся поэтъ отъ своихъ воспоминаній, отъ своихъ молодыхъ мечтаній,—а балъ между тѣмъ кончился, и Онѣгинъ полусонный ѣдетъ домой въ постелю, и начинается прозаическое петербургское утро. Молодость прошла, балъ жизни отзвучалъ, и уже не въ такомъ настроеніи будетъ Пушкинъ на другомъ балу, на томъ чинномъ и стройномъ раутѣ, когда Онѣгинъ вновь встрѣтитъ свою Татьяну.

Одинъ день Евгенія похожъ на другой, и одна ночь на другую. Его жизнь «однообразна и пестра», т.-е. протекаетъ именно въ такомъ соединеніи пестроты и однообразія, которое способствуетъ счастью. Но Онѣгинъ не былъ счастливъ. И въ этомъ его большая заслуга. Онъ—одинъ изъ первыхъ неудовлетворенныхъ и скучающихъ русскихъ людей. Въ шумѣ и пустотѣ свѣтской суеты онъ заскучалъ. Въ немъ рано остыли чувства, какъ рано они и загорѣлись; онъ испыталъ ту досрочность переживаній, которая впослѣдствіи отравила жизнь Лермонтову. Почему онъ заболѣлъ разочарованіемъ, дѣйствительно ли виноваты въ этомъ его «предки», весь историческій укладъ русской жизни въ ея прошломъ и въ ея онѣгинскомъ настоящемъ, или здѣсь надо искать объясненій только психологическихъ и субъективныхъ,—трудно сказать навѣрное; самъ Пушкинъ съ присущей ему честностью остановился передъ этимъ въ недо-

умѣніи и говоритъ про недугъ своего героя, что его «причину давно бы отыскать пора»,—но она не отыскана и до сихъ поръ, хотя и позволительно высказать (какъ это и будетъ сдѣлано ниже) одну простую гипотезу, сущность которой сводится къ знакомой уже намъ проблемѣ культуры и природы, къ вопросу о борьбѣ въ человѣкѣ его центробѣжной и центростремительной силъ. Во всякомъ случаѣ, пока для насъ довольно знать, что Онѣгинъ почувствовалъ великую неудовлетворенность и этимъ сразу поднялся надъ всѣми удовлетворенными членами своего круга. Во многомъ онъ подражалъ Байрону (примѣръ заразителенъ), но Пушкинъ упоминаетъ и его «неподражательную странность»: была у него рисовка и поза, но въ глубинѣ души въ немъ таилась и самая искренняя тоска, желаніе дѣла и фатальная обреченность бездѣлью. Онъ зѣвая брался за перо, за книги, онъ вообще проходилъ свою жизнь зѣвая. У него не было силъ для сосредоточенности и работы. Ему пришлось бросить перо, траурной тафтой задернуть полку съ пыльной семьей книгъ, и душа у него была «полная сожалѣній».

Въ эту пору съ нимъ сошелся Пушкинъ. Нравился поэту его скептицизмъ, желчныя шутки, злостныя эпиграммы, но не во власти Пушкина было умертвить свою душу, изгнать изъ нея очарованіе, и потому отъ прикосновенія къ Онѣгину только зажегся лиризмъ поэта, и самъ герой тоже пришелъ къ лирикѣ и задумчивости, и свѣтлымъ грезамъ. Они стояли оба надъ Невою въ прозрачныя лѣтнія ночи, безмолвно упивались дыханьемъ тишины и были вновь чувствительны и безпечны. Онѣгинъ сталъ сантименталенъ, и Пушкинъ пробудилъ въ немъ Ленскаго.

Какъ въ лѣсъ зеленый изъ тюрьмы
Перенесенъ колодникъ сонный,
Такъ уносились мы мечтой
Къ началу жизни молодой.

Шла безмолвная творческая работа въ ихъ душѣ, и что испытывалъ Онѣгинъ, объ этомъ можно судить по настроенію сроднившагося съ нимъ Пушкина. Плыла лодка по дремлющей Невѣ, слышны были рожокъ и пѣсня удалая, и это пробуждало въ поэтѣ тоску по Италіи, идеальной родинѣ всѣхъ поэтовъ, и хотѣлось ему слышать напѣвъ Торкватовыхъ октавъ, увидѣть Венецію, освященную недавнимъ присутствіемъ Байрона; и нравственно-подвижный, кипучій, страстный, Пушкинъ опять уносится отъ Петербурга — въ душистую ночь Италіи, и вотъ уже онъ въ таинственной гондолѣ съ венеціанкою младой, то говорливой, то нѣмой, и онъ слушаетъ ея говоръ и ея молчаніе, опьяненный, влюбленный, очарованный,—

Съ ней обрѣтутъ уста мои
Языкъ Петрарки и любви.

Во имя Петрарки, во имя любви, онъ взываетъ къ свободѣ, и онъ хочетъ моря, по вольному распутью котораго такъ радостно начать свой вольный бѣгъ и забыть скучный, неподвижный берегъ непріязненной стихіи, къ которой его, Прометея, приковала чужая тираническая рука. Свободной душѣ поэта сродни не земля, а море, и Пушкинъ бродитъ надъ моремъ, ждетъ погоды, призывно манитъ вѣтрила кораблей. И съ нимъ посѣтить чужія страны готовъ былъ пробужденный имъ Онѣгинъ, и только потому не увидѣлъ онъ ихъ, что не суждено было ихъ видѣть и самому Пушкину...

О чемъ же Онѣгинъ грезилъ и тосковалъ, почему онъ разочаровался, о комъ онъ думалъ, когда съ душою, полной сожалѣній, задумчиво стоялъ, опершись на гранитъ?

Онъ думалъ о Татьянѣ, онъ тосковалъ по ней, онъ искалъ ея, какъ искалъ природы, зеленаго лѣса, деревни. Онѣгинъ всю жизнь любилъ Татьяну, и только Татьяну. Онъ потому рано бросилъ и причудницъ большого свѣта, и молодыхъ красотокъ, что ему нужна была она. Онъ ее предчувствовалъ, ея ожидалъ. Вся наука страсти нѣжной, въ которой онъ былъ такъ силенъ, опостылѣла ему оттого, что не было съ нимъ Татьяны, его истинной невѣсты. Его разочарованіе, его скука, его томленіе были не что иное, какъ тоска по родинѣ-природѣ и по воплощающей эту родину деревенской дѣвушкѣ

Съ печальной думою въ очахъ,
Съ французской книжкою въ рукахъ.

Когда онъ увидѣлъ двухъ дѣвушекъ въ домѣ Лариной, онъ спросилъ Ленскаго, которая—Татьяна, и сказалъ своему другу, что выбралъ бы не Ольгу, а ее, когда бъ онъ былъ поэтъ (а мы уже знаемъ, что онъ былъ поэтъ, что къ поэзіи пріобщилъ его Пушкинъ). И письмо Татьяны привело у него въ волненье давно умолкнувшія чувства, и самой Татьянѣ .сказалъ онъ, что въ ней нашелъ онъ свой прежній идеалъ и что онъ любитъ ее нѣжнѣе, чѣмъ любовью брата, и когда онъ посмотрѣлъ на нее въ трагическій вечеръ именинъ, то взоръ его очей былъ чудно-нѣженъ. А когда онъ встрѣтился съ нею въ столицѣ и проводилъ безумныя и безсонныя ночи, ему рисовалась Татьяна не только теперешняя, не только княгиня, но и преимущественно та, прежняя, бѣдная Таня, и представлялся ему сельскій домъ

И у окна
Сидитъ она... и все она!

Да, Онѣгинъ всю жизнь, и до встрѣчи съ Татьяной, безсознательно любилъ Татьяну. И трагедія его заключается въ томъ, что онъ прошелъ мимо нея, мимо своей суженой, не узнавъ ея. Роковое недоразумѣніе погубило его и ее. Извращенный городомъ, онъ замѣчалъ красоту только въ оболочкѣ изящной, культурной, изысканной. Онъ любилъ, какъ это записано въ его альбомѣ, летѣть по лаковымъ ступенямъ за одалиской молодой,—и въ чудныхъ стихахъ изображена вся элегантность его легкой любви:

Послѣдній звукъ послѣдней рѣчи
Я отъ нея поймать успѣлъ;
Я чернымъ соболемъ одѣлъ
Ея блистающія плечи;
На кудри милой головы
Я шаль зеленую накинулъ;
Я предъ Венерою Невы
Толпу влюбленную раздвинулъ.

Но въ домѣ Лариной, гдѣ нѣтъ Венеры, чернаго соболя на блистающихъ и бѣлоснѣжныхъ плечахъ,—тамъ не летѣлъ онъ по ступенямъ, и онъ не подумалъ, что въ уѣздной барышнѣ можетъ трепетать невиданная духовная краса. Онъ ошибся—и какъ онъ былъ наказанъ! Когда та же Татьяна появилась въ стихіи, ему привычной, какъ знатная дама, тогда онъ понялъ, что́ онъ потерялъ, и тогда ему осталось только умереть. Онъ и умеръ.

Итакъ, «наслѣдникъ всѣхъ своихъ родныхъ», онъ пріѣхалъ въ деревню за наслѣдствомъ, но въ дѣйствительности, въ мистической дѣйствительности, туда позвала его судьба, чтобы показать ему неузнанную имъ Татьяну. Неисправимый горожанинъ, тотъ, кому сполна удѣлилъ Пушкинъ только одну, городскую, стихію своего духа, Онѣгинъ скучалъ и въ деревнѣ (отъ себя никуда не уѣдешь),—въ той самой деревнѣ, гдѣ его духовный творецъ, который вездѣ былъ дома, испытывалъ такое счастье тишины, такую полноту легкой нѣги и свободы. Онѣгину нужна была деревня, природа, но въ силу того же недоразумѣнія, испортившаго ему жизнь, онъ не зналъ, не понималъ, чего ему нужно. У него была аберрація чувства.

Деревня, гдѣ скучалъ Евгеній,
Была прелестный уголокъ,

и еще прелестнѣе описалъ его Пушкинъ, и хочется пойти въ этотъ огромный, запущенный садъ, пріютъ задумчивыхъ дріадъ.

Развертывая все шире и шире картину быта, оттѣняя городъ деревней, рисуя эту Русь-rus, Пушкинъ поселялъ Онѣгина въ

почтенномъ замкѣ съ царскими портретами на стѣнахъ, и вдобавокъ еще въ томъ самомъ покоѣ,

Гдѣ деревенскій старожилъ
Лѣтъ сорокъ съ ключницей бранился,
Въ окно смотрѣлъ и мухъ давилъ.

Curriculum vitae... Сорокъ лѣтъ занимался этимъ добрый помѣщикъ. И вотъ не усталъ же, какъ его племянникъ, не зналъ, что такое сплинъ, и душа его не была опустошенной. Съ лукавой похвалою говоритъ Пушкинъ о чистотѣ этого жилища—«нигдѣ ни пятнышка чернилъ», какъ и въ Обломовкѣ. Онѣгинъ шкафы отворилъ и нашелъ тамъ своеобразную библіотеку—наливокъ цѣлый строй, кувшины съ яблочной водой и календарь осьмого года, т.-е. давно уже прошедшаго года:

Старикъ, имѣя много дѣлъ,
Въ иныя книги не глядѣлъ,—

мы только что видѣли, какія у него были многія дѣла...

Не изъ гуманности и либерализма, а чтобъ только время проводить, (спѣшитъ оговориться Пушкинъ), задумалъ Евгеній ввести новые порядки, занялся, такъ сказать, аграрнымъ вопросомъ и сталъ однимъ изъ первыхъ освободителей крестьянства, замѣнивъ барщину легкимъ оброкомъ,—

И рабъ судьбу благословилъ.

Встревожились сосѣди-рабовладѣльцы, рѣшили, что онъ политически неблагонадеженъ, опаснѣйшій чудакъ, и обиженные его отчужденностью, тѣмъ, что онъ бѣжалъ отъ ихъ домашнихъ дрогъ, прозвали его неучемъ (себя-то они считали учеными) и фармазономъ (какъ Фамусовъ называлъ Чацкаго карбонаріемъ: собственныхъ крамольниковъ тогда еще въ Россіи было мало, и ихъ выписывали изъ-за границы, изъ разныхъ краевъ,—соединялись крамольники всѣхъ странъ...).

Если въ городѣ отъ скептицизма и тоски спасалъ Онѣгина въ лѣтнія свѣтлыя ночи самъ Пушкинъ и оживлялъ его засыпающее сердце, то въ деревнѣ ту же роль игралъ по отношенію къ нему романтикъ Ленскій, который свою недолгую жизнь пространствовалъ съ пѣвучей лирой въ рукѣ и пропѣлъ нѣсколько трогательныхъ лирическихъ пѣсенъ. Онъ сердцемъ милый былъ невѣжда, въ противоположность слишкомъ знающему Онѣгину, и послѣдній могъ, но не хотѣлъ быть для него Мефистофелемъ,—онъ слушалъ его съ снисходительной улыбкой, онъ видѣлъ въ немъ свое прошлое:

Такъ точно старый инвалидъ
Охотно клонитъ слухъ прилежный
Разсказамъ юнымъ усачей,
Забытый въ хижинѣ своей.

И отъ Ленскаго узналъ Онѣгинъ объ Ольгѣ и о Татьянѣ.

Любовь Ленскаго и Ольги имѣетъ въ себѣ что-то дѣтское; это вправду—«*дѣтей* условленныя встрѣчи», и «*дѣтямъ* прочили вѣнцы друзья-сосѣди, ихъ отцы». Сама природа оберегала ихъ чувство: Ольга выросла «въ тѣни хранительной дубравы», старой дубравы, которая на своемъ долгомъ вѣку видѣла много романовъ и нѣжныхъ свиданій, но была къ нимъ равнодушна, и только эту отроческую любовь патріархально охраняла своей широкошумной листвою, потому что Ольга росла здѣсь какъ потаенный ландышъ, и прежде чѣмъ влюбился въ нее Ленскій, онъ былъ свидѣтель умиленный ея младенческихъ забавъ. Прототипъ гончаровской Мареиньки и одна изъ преемницъ евангельской Мареы, Ольга цвѣла въ глазахъ родителей и была вообще ихъ послушной и на нихъ похожей дочерью. Она повторитъ судьбу своей матери, будетъ хозяйкой и замѣнитъ свое и чужое счастье привычкой.

И нѣтъ болѣе идиллическихъ, болѣе привлекательныхъ красокъ, чѣмъ тѣ, какими описаны ея родители въ своей непосредственности, въ своемъ однообразномъ существованіи, въ элементарности своего душевнаго склада. Это—«Семейная хроника» и «Старосвѣтскіе помѣщики», но только въ пушкинскихъ стихахъ, которые льются и журчатъ мирнымъ ручейкомъ, и безмятежности жизни такъ соотвѣтствуютъ эти спокойныя, ласковыя, простыя слова, эта дружелюбная усмѣшка на лицѣ поэта.

Они хранили въ жизни мирной
Привычки мирной старины;
У нихъ на масляницѣ жирной
Водились русскіе блины.
Два раза въ годъ они говѣли,
Любили круглыя качели,
Подблюдны пѣсни, хороводъ;
. . . . . .
Имъ квасъ какъ воздухъ былъ потребенъ,
И за столомъ у нихъ гостямъ
Носили блюда по чинамъ.

И такъ они старѣли оба.
И отворились, наконецъ,
Передъ супругомъ двери гроба,

И новый онъ пріялъ вѣнецъ.
Онъ умеръ въ часъ передъ обѣдомъ,
Оплаканный своимъ сосѣдомъ,
Дѣтьми и вѣрною женой
Чистосердечнѣй, чѣмъ иной.
Онъ былъ простой и добрый баринъ,
И тамъ, гдѣ прахъ его лежитъ,
Надгробный памятникъ гласитъ:
«Смиренный грѣшникъ, Дмитрій Ларинъ,
Господній рабъ и бригадиръ,
Подъ камнемъ симъ вкушаетъ миръ».

«Онъ былъ простой и добрый баринъ»—какая мелодія звуковъ, какая исчерпывающая характеристика цѣлаго типа, какая сердечность и вниманіе къ этой простотѣ и добротѣ! Право, стоитъ жить, стоитъ умереть, чтобы только удостоиться такой эпитафіи Пушкина... А эта надпись «Господній рабъ и бригадиръ»: Богу отдано Богово, а кесарю кесарево, и въ одной строкѣ выражено все міровоззрѣніе эпохи, все внутреннее содержаніе отдѣльной личности,—быть можетъ, вся Россія.

И мы видимъ предъ собою этого «смиреннаго грѣшника», лучшаго, чѣмъ иные праведники; на колѣняхъ у него сидитъ мальчикъ Ленскій и играетъ его очаковской медалью. Онъ не дождался, простой и добрый баринъ, вѣнчанія Ольги, которую онъ прочилъ за Ленскаго,—но послѣ его смерти жизнь въ его домѣ текла такъ же мѣрно и спокойно, и всѣмъ гостямъ оказывались «порой тяжелыя услуги гостепріимной старины», и неизмѣнна была обрядность угощенія, ритуалъ хозяйственности, и столичному Онѣгину, какъ и захолустнымъ помѣщикамъ, одинаково несли на блюдечкахъ варенья и подавали ту брусничную воду, которая такъ встревожила нашего изнѣженнаго героя... По вечерамъ Ольга готовила и разливала чай, и это даетъ Пушкину любезную для него возможность выявить поэтичность и красоту будничнаго момента во всѣхъ его, другими незамѣчаемыхъ, деталяхъ: вечерній самоваръ шипитъ на столѣ, блистая, и нагрѣваетъ чайникъ китайскій; подъ нимъ клубится легкій паръ; чай, душистый, бѣжитъ по чашкамъ темною струею; мальчикъ подаетъ сливки,—кто, кромѣ Пушкина, могъ бы такъ побѣдоносно дерзнуть на эту прозу и простоту? И жизнь должна быть благодарна ему, что онъ замѣчалъ и преображалъ ее всю, во всѣхъ ея подробностяхъ...

Умеръ старый Ларинъ въ часъ передъ обѣдомъ, но и послѣ старика такъ же шумно и хлопотливо справляли веселый праздникъ

именинъ. Гости въ этотъ день совершали особенно «продолжительный присѣстъ» и съ утра наполняли домъ цѣлыми семьями, до грудныхъ дѣтей включительно, такъ что въ передней и гостиной сейчасъ же начинался пестрый концертъ семейственности: лай мосекъ и (неучтивое сопоставленье!) чмоканье дѣвицъ; шумъ, хохотъ, давка у порога, кормилицъ крикъ и плачъ дѣтей. Съ дородною супругою толстый Пустяковъ; превосходный хозяинъ, владѣлецъ нищихъ мужиковъ Гвоздинъ; сѣдая чета Скотининыхъ (несомнѣнно, изъ династіи фонвизинскаго героя); уѣздный франтикъ Пѣтушковъ и Буяновъ, котораго Пушкинъ называетъ своимъ двоюроднымъ братомъ, своимъ кузеномъ (потому что образъ его созданъ въ поэмѣ дяди Пушкина), и отставной совѣтникъ Фляновъ, и мосье Трике, французъ, не изъ Парижа, а изъ Тамбова, необходимый въ просвѣщенной семьѣ Панфила Харликова—вотъ кто съѣхался на праздникъ поэтической Татьяны. И здѣсь же—ротный командиръ, уѣздныхъ матушекъ отрада, предтеча полковой музыки и, значитъ, бала. Подали кушать, и, крестясь, толпа жужжитъ, за столъ садясь. На мигъ умолкли разговоры—о сѣнокосѣ, о винѣ, о псарнѣ, о своей роднѣ: уста жуютъ. Но вскорѣ гости подъемлютъ общую тревогу—кричатъ, смѣются, спорятъ и пищатъ (барышни?). Наступаетъ центральный моментъ именинного обѣда, когда «цѣлью взоровъ и сужденій» дѣлается жирный пирогъ, къ несчастью пересоленый, и между жаркимъ и неизбѣжнымъ какъ судьба бланманже несутъ цымлянское въ бутылкѣ засмоленной, а за нимъ—строй рюмокъ, узкихъ, длинныхъ,

Подобныхъ таліи твоей,
Зизи, кристаллъ души моей...

И опять—детали, атомы явленія: бутылка хлопнула, освободясь отъ пробки влажной, вино шипитъ. «Трике, догадливый поэтъ, куплетомъ мучимый давно, запѣлъ фальшивя» (пирогъ пересоленый, мотивъ фальшивый—это дѣлаетъ стиль). Потомъ гремятъ отдвинутые стулья, въ гостиной, довольный праздничнымъ обѣдомъ, сосѣдъ сопитъ передъ сосѣдомъ, дѣвицы шепчутъ въ уголку. Играютъ въ карты,—

Зовутъ задорныхъ игроковъ
Бостонъ и ломберъ стариковъ
И вистъ, донынѣ знаменитый,
Однообразная семья,—
Всѣ жадной скуки сыновья.

Жадная скука героевъ виста не была еще утолена восьмью робберами, когда принесли чай и дѣвицы чинно, какъ и подобаетъ дѣвицамъ, за блюдечки взялись.

Вдругъ изъ-за двери въ залѣ длинной
Фаготъ и флейта раздались.
Обрадованъ музыки громомъ,
Оставя чашку чая съ ромомъ,

(какой темпъ стиховъ, вы слышите призывную полковую музыку!.. а эта чашка чая съ ромомъ, съ обильнымъ ромомъ...).

Парисъ окружныхъ городковъ
Подходитъ къ Ольгѣ Пѣтушковъ

(одинъ Парисъ на всю округу, и на каждую округу полагается свой Парисъ). Начинаютъ вальсомъ, и въ этихъ стихахъ, своими звуками уже въ первомъ словѣ передающихъ впечатлѣніе кружащагося танца, живетъ сама душа вальса:

Однообразный и безумный,
Какъ вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный,
Чета мелькаетъ за четой.

Становятся понятными стихи Тургенева:

Рѣзко взвизгнетъ вальсъ нахальный
Подъ ударами смычковъ,

и кругооборотъ вальса, его вихрь, чувствуется уже въ самомъ повтореніи слова *вихорь*, возвращеніи къ нему.

А бурная энергія мазурки слышится въ другомъ звуконодражаніи:

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда *гремѣлъ мазурки громъ*,
Въ *огромной* залѣ все *дрожало*,
Паркетъ трещалъ подъ каблукомъ,
Тряслися, *дребезжали* рамы...

И вотъ мужчины погнали, дернули дѣвицъ, стучатъ подковы, шпоры; Буянова каблукъ такъ и ломаетъ полъ вокругъ.

Но кончились всѣ эти усердные танцы и завершительный котильонъ. Идутъ за ужинъ, а послѣ него, конечно, гости остаются ночевать (кромѣ Онѣгина: для него это мѣщанство было бы ниже его достоинства), и постели стелютъ отъ сѣней до самой дѣвичьей...

Когда изъ этого насиженнаго гнѣзда надо было куда-нибудь уѣзжать, напримѣръ, въ Москву, на ярмарку невѣстъ, то это разросталось въ огромное событіе, и увозился въ обстоятельное путешествіе весь бытъ; деревню брали съ собой въ дорогу и въ Москву.

Разумѣется, отъѣзда день давно просроченъ, но когда пришелъ и послѣдній срокъ, осмотрѣли, вновь обили, упрочили забвенью брошенный возокъ.

Обозъ обычный—три кибитки
Везутъ домашніе пожитки,
Кострюльки, стулья, сундуки,
Варенья въ банкахъ, тюфяки,
Перины, клѣтки съ пѣтухами,
Горшки, тазы et cetera.—
Ну, много всякаго добра

(это перечисленіе могъ впослѣдствіи хорошо оцѣнить Гончаровъ, который такъ близко и любовно зналъ и комнату, и кладовую, и кухню). Запряженный осьмнадцатью клячами, предшествуемый бородатымъ форейторомъ, сопровождаемый челядью, возокъ почтенный, скользя, уползъ за ворота—и такъ онъ ползъ семь сутокъ, пока у Харитонья въ переулкѣ медлительно не остановился и путники не нашли себѣ пріюта въ домѣ, похожемъ на ихъ деревенскую резиденцію,—и отворилъ имъ настежь двери сѣдой калмыкъ съ чулкомъ въ рукѣ.

Въ этой домашности чувствуетъ себя хорошо Ольга, но здѣсь тоскуетъ Татьяна.

Ея сестра звалась Татьяна,—

такъ начинается характеристика любимой пушкинской героини, его крестницы, чьимъ именемъ поэтъ своевольно освятилъ страницы нѣжныя романа,—той, о которой онъ самъ сказалъ:

Простите мнѣ, я такъ люблю
Татьяну милую мою.

Ея нельзя не любить. Она навѣки осталась любимицей русской литературы, и даже Достоевскій склонилъ передъ нею свою страдающую и преступную голову. Она—лучшая изъ героинь, возвышенная въ своей простотѣ, плѣнительная въ своей сердечности. Татьяна Ларина—Снѣгурочка нашей поэзіи. Она создана Зимой, которую любила сама не зная почему, и трудно себѣ представить ее не на фонѣ снѣжнаго пейзажа съ его хрусталемъ и серебромъ. Зима вдохнула въ нее душу и оболочкой кристальнаго льда охранила ея дѣвственное сердце. И потому, въ противоположность своей сказочной предшественницѣ, она не сожжена была весеннимъ солнцемъ и осталась снѣжная, прекрасная, гордая,—а тамъ, во глубинѣ ея духа, обереженное Зимой, трепетало чистое горѣніе любви.

Въ этомъ необычномъ сочетаніи снѣга и сердца—неумирающая прелесть Татьяны.

Она, дикая, печальная, молчаливая, соткана изъ двухъ разнородныхъ стихій — изъ природы и книги; она отъ города мечтой стремилась къ жизни полевой — къ своимъ цвѣтамъ и къ своимъ романамъ. Деревня и французская книжка сдѣлали ее созерцательной, и это такъ характерно, что она всегда сидитъ у окна,—т.-е. смотритъ на жизнь и молча думаетъ о ней. Дитя лѣсовъ, задумчивая дріада, она не играетъ, не оживляетъ полотна шелковымъ узоромъ, не бесѣдуетъ съ куклой, и пугливая, какъ лань лѣсная, живетъ одна въ богатомъ мірѣ своихъ мечтаній. Она любитъ солнце и сказки. Вѣрная солнцу, она всегда предупреждаетъ его восходъ—и зимою, и лѣтомъ. Но въ темнотѣ ночей она слушаетъ страшные разсказы, и у сна похищаетъ ее книга. Дѣйствительность природы и фантазія романа соединились вмѣстѣ, чтобы сотворить прекрасное своеобразіе этой дѣвушки. Живую стихійность деревни и искусство города, городской литературы, всѣхъ этихъ Ричардсоновъ и Руссо, претворила Татьяна въ удивительное единство и цѣльность своей натуры.

Всегда похожая на себя, одинаковая въ разной обстановкѣ, она въ теченіе своей жизни спѣла только одну пѣсню, но зато эта пѣснь, печальная и прекрасная, въ своемъ отголоскѣ никогда не отзвучитъ для русскихъ слушателей. Въ семьѣ своей родной Татьяна, еще ребенкомъ, казалась дѣвочкой чужой, была равнодушна къ быту, не склонялась на пяльцы; но изъ окружающей элементарности она взяла ея лучшее и чистѣйшее—взяла природу и народность, полюбила свою няню, Филипьевну сѣдую, и всю эту поэзію легендъ, сказаній, преданій и мглу крещенскихъ вечеровъ, когда служанки со всего двора безкорыстно про барышенъ своихъ гадали и имъ сулили каждый годъ мужьевъ военныхъ и походъ. Русская душою, вся исполненная стихійной красоты, дочь деревни, Татьяна вѣрила преданьямъ простонародной старины; она была суевѣрна, потому что она была поэтична, и она вѣрила въ примѣты, потому что вѣрила въ природу.

Когда жъ падучая звѣзда
По небу темному летѣла
И разсыпалася, тогда
Въ смятеньи Таня торопилась,
Пока звѣзда еще катилась,
Желанье сердца ей шепнуть.

Въ бесѣдѣ съ звѣздами и луною, въ общеніи съ холмами и ро-

щами искала она откликовъ на призывы своего сердца. И манилъ ее ужасъ, въ которомъ она находила тайную прелесть. Изъ таинственнаго и простого, изъ мистики и реальности сплетала она свою дѣвичью душу. Зимняя, Снѣгурочка, она на Святкахъ любопытнымъ взоромъ испытывала судьбу, и въ морозную ночь, когда все небо было ясно и дивный хоръ ея любимыхъ свѣтилъ пѣлъ свои безмолвные, но внятные для нея псалмы, она въ открытомъ платьицѣ выходила на широкій дворъ и наводила на мѣсяцъ свое вопрошающее зеркало. Не только у романовъ, но и у примѣтъ спрашивала она имя своего будущаго жениха.

Излюбленное дитя природы и тайны, дѣвушка-Сказка, для которой жизнь была не только жизнью, но и миѳологіей, и которая сама была какъ живой, одушевленный миѳъ, она была отмѣчена Зимою и Лелемъ, и онъ вился надъ ея изголовьемъ. Оттого и сновидѣнья насылались ей все поэтическія, и вся Россія знаетъ и помнитъ тотъ чудный сонъ, который приснился ей въ святочную ночь.

Въ литературномъ отношеніи этотъ сонъ имѣетъ въ своихъ подробностяхъ нѣчто общее съ сновидѣньемъ Софьи у Грибоѣдова: той тоже мерещились «какіе-то не люди и не звѣри», и провожалъ ее «стонъ, ревъ, хохотъ, свистъ чудовищъ»,—но въ общемъ безпримѣрны и безподобны эти стихи Пушкина. И замѣчательно то соотвѣтствіе между явью и грезами, которое установилъ здѣсь поэтъ, и тѣ живыя нити фантазіи, которыми онъ связалъ воедино факты и мечты. Быть можетъ, для писателя нѣтъ ничего труднѣе, какъ придумать сонъ и соблюсти здѣсь необходимое правдоподобіе. Вѣдь сновидѣніе само—творчество, и нигдѣ нѣтъ большей талантливости, чѣмъ въ его причудливыхъ комбинаціяхъ. Безсознательный художникъ сна можетъ ли быть понятъ и воспроизведенъ человѣческимъ поэтомъ, который не въ силахъ же всецѣло отрѣшиться отъ своего умствующаго сознанія? Между тѣмъ Пушкинъ проникъ въ сокровенную художественную мастерскую природы, усвоилъ себѣ ея великую безсознательность и выткалъ въ воображеніи Татьяны такой узоръ сновидѣнія, лучше и естественнѣе котораго не могъ бы создать и самъ великій Ткачъ. Оно воспроизводитъ и душу Татьяны, и внѣшнюю дѣйствительность, и то, что есть, и то, что кажется, и то, что будетъ; оно сплетаетъ человѣческія субъективныя настроенія съ объективнымъ ходомъ еще невѣдомыхъ для насъ грядущихъ событій, съ загадочной поступью судьбы; оно сближаетъ чувства и предчувствія, реальность и символику.

Ей снится лѣсъ, Татьянѣ, жизненный лѣсъ, потому что она—лѣсная, эта дикая, печальная, молчаливая дѣвушка-лань. Ей снится зимній лѣсъ, потому что она — Снѣгурочка и такъ подходятъ къ ней

рѣчи и событія проникнуты духомъ романтики и фантастики,—а здѣсь, въ «Евгеніи Онѣгинѣ», поэтъ прикоснулся къ быту, къ родной обыденности, и не только самъ одержалъ надъ нею высокую художественную побѣду, но и проложилъ дорогу послѣдующимъ авторамъ, сдѣлался родоначальникомъ русскаго жанра, предварилъ мотивы Сергѣя Аксакова, Толстого, Гончарова и, въ соединеніи съ этимъ, всю прекрасную женственность Тургенева. Онъ байроновскій методъ, эту сверкающую игру мыслей, капризы и прихоти живой субъективности, лирику отступленій, примѣнилъ къ прозѣ, къ деревнѣ, и такое сочетаніе новой, революціонной формы съ содержаніемъ, по существу консервативнымъ, оказалось однимъ изъ самыхъ плѣнительныхъ явленій міровой словесности. Призвать Байрона для того, чтобы просто пересказать простыя рѣчи отца иль дяди-старика, преданья русскаго семейства, нравы нашей старины, дѣтей условленныя встрѣчи у старыхъ липъ, у ручейка (вотъ онѣ гдѣ начинаются, эти тургеневскія липы),—такую смѣлость и свободу духа могъ позволить себѣ только нашъ единственный, нашъ божественный Пушкинъ. Но и этого мало: консерватизмъ блещущаго новизною «Евгенія Онѣгина»—не только въ содержаніи; онъ идетъ гораздо глубже. Мятежный Байронъ призванъ не только въ сотрудники мирной бытовой картины, но и для совмѣстнаго славословія въ честь патріархальнаго міросозерцанія, въ честь бабушкиной морали,—для того чтобы создать апоѳеозъ Татьянѣ и вложить въ ея чистыя и честныя уста:

Но я другому отдана:
Я буду вѣкъ ему вѣрна.

И выдержала бабушкина мораль испытаніе байроновскаго духа и показала, что кромѣ стараго и новаго еще есть надъ ними—вѣчное.

Изъ быта выросли души героевъ «Онѣгина», и оттого Пушкинъ быту удѣлилъ такъ много вниманія, такъ много юмора и ласки.

Самъ Евгеній—сынъ своей среды, воспитанникъ своего гувернера. Monsieur l'Abbé, французъ убогій, чтобъ не измучилось дитя, училъ его всему шутя (еще раньше этотъ вопросъ о переутомленіи учащихся встревоженно подняла госпожа Простакова, изъ любви къ сыну); и моралью строгой не докучалъ ему monsieur,—вѣроятно потому, что и самъ не обремененъ былъ ею. Пройдя эту легкую и скорую школу, Онѣгинъ сталъ жить, и такъ какъ Пушкинъ вмѣстѣ съ нимъ продѣлываетъ его день, его жизнь, его романъ, то мы и знаемъ каждый шагъ «молодого повѣсы» съ утра и до вечера, и этому ознакомленію только помогаетъ, его оттѣняетъ, что словоохотливый поэтъ, «влюбленный говорунъ», вмѣшивается въ свой разсказъ своею лирикой, благословенно-«болтливой лирою своей».

Развѣ это мѣшаетъ, что въ театрѣ—не только Онѣгинъ, «почетный гражданинъ кулисъ», но и Пушкинъ, который тоже когда-то любовался на полетъ русской Терпсихоры, а теперь не находитъ знакомыхъ лицъ на сценѣ скучной, на скучной сценѣ міра, и уже смотритъ на нее въ «разочарованный лорнетъ»? Театръ ужъ полонъ, въ райкѣ нетерпѣливо плещутъ (въ райкѣ всегда нетерпѣливы); и танцуетъ полувоздушная Истомина, на которую указалъ Пушкинъ и которая отъ этого стала безсмертной въ своемъ танцѣ: когда ни вспомнишь о ней, все летитъ она какъ пухъ отъ устъ Эола и быстрой ножкой ножку бьетъ. Но Онѣгину, который и вправду разочарованъ, и считаетъ своимъ долгомъ быть разочарованнымъ, ничто не нравится; онъ идетъ межъ креселъ по ногамъ (что ему чужія ноги?), свой лорнетъ онъ наводитъ на дамъ «скосясь», результатами осмотра ужасно недоволенъ, на сцену глядитъ въ большомъ разсѣяньѣ, сейчасъ же отворачивается отъ нея и зѣваетъ. Онъ покидаетъ театръ; за нимъ идетъ его спутникъ, его Вергилій и, мимоходомъ, раздробляя дѣйствительность, чтобы сейчасъ же опять собрать ее воедино, но уже осмысленную и освѣщенную, уже опоэтизированную,—послѣ амуровъ, чертей и змѣй, небрезгливо и благодушно подмѣчаетъ то, чего самъ Онѣгинъ во вѣки не удостоилъ бы взглядомъ,—весь этотъ живой кусокъ русской прозы и характерности:

Еще усталые лакеи
На шубахъ у подъѣзда спятъ,
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Вездѣ блистаютъ фонари;
Еще, прозябнувъ, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера вокругъ огней
Бранятъ господъ и бьютъ въ ладони...

Онѣгинъ разочарованъ. Однако на балъ онъ «скачетъ стремглавъ», въ ямской каретѣ, и по мраморнымъ ступенямъ «стрѣлой взлетаетъ» мимо швейцара, и послѣ трехчасовой бесѣды съ зеркаломъ еще и здѣсь расправляетъ волосы: очевидно, не легко быть философомъ въ осьмнадцать лѣтъ. А великолѣпный домъ со своими цѣльными окнами, усѣянный плошками, блеститъ одинъ на сонной улицѣ, и, дополняя картину стараго Петербурга, свѣтятся передъ померкшими домами двойные фонари каретъ.

Мы не знаемъ, какія впечатлѣнія переживаетъ на балу Онѣгинъ, но сопровождающій его поэтъ любитъ «до сихъ поръ» эту бѣше-

старушка спуталась, мало помнитъ и понимаетъ любовь, и, вынянчившая Таню, она никакъ не можетъ сообразить, что Таня уже не дитя...

Уже не дитя, но дѣтскою рукою пишетъ она Онѣгину свое посланіе. Пушкинъ знаетъ, какая трудность для писателя сочинить Татьянино письмо, найти для этого подходящія слова, ихъ «любезную небрежность», и тонъ, и прелесть. Онъ предупреждаетъ насъ поэтому, что письмо было написано по-французски, а онъ даетъ лишь его переводъ, неполный, слабый,—

Съ живой картины списокъ блѣдный,
Или разыгранный Фрейшицъ
Перстами робкихъ ученицъ.

Но французскій языкъ необходимъ здѣсь еще для одной, органической цѣли: эти «иноплеменныя слова»—проявленіе французской стихіи въ Татьянѣ, ея чтенія, ея книгъ. Такая русская душою, она пишетъ по-французски. Но по-французски она выражаетъ русское. И самое содержаніе и тонъ ея всей Россіей прочитаннаго письма имѣютъ въ себѣ ту же двойственность, претворенную въ одно, то же возсоединеніе деревни и романа, которыя такъ характерны для нея. Смѣна *вы* и *ты*, простого и мистическаго; дыханіе природы и, такъ сказать, внутренняя цитата изъ книгъ; ласковая задушевность тихой мольбы и трепетъ возбужденнаго чувства — все это слилось въ одну любовную молитву, въ одно стыдливое признаніе страстныхъ и непорочныхъ дѣвичьихъ устъ, потому что Татьяна (мы уже знаемъ), это именно—единство снѣга и сердца, стыдливости и страсти.

Сначала она молчать хотѣла—она привыкла къ молчанію. Если бы она изрѣдка, хоть въ недѣлю разъ могла видѣть Онѣгина въ своей деревнѣ, его, героя книги въ обстановкѣ природы; если бы ей можно было слышать его рѣчи, а самой, молчаливой, молвить ему слово, чтобы потомъ все думать, думать объ одномъ и день, и ночь до новой встрѣчи, и на своемъ любимомъ мѣстѣ, у окна, ждать его пріѣзда,—она бы не написала, она бы не сказала ничего, и онъ не узналъ бы ея стыда. Но вѣдь Онѣгинъ нелюдимъ, — въ глуши, въ деревнѣ, ему, горожанину, скучно, и среди природы онъ, избалованный сынъ культуры, чувствуетъ себя еще менѣе дома, чѣмъ въ столицѣ; а простодушная деревня ничѣмъ не блеститъ, хоть и рада Онѣгину,—и значитъ, онъ не пріѣдетъ, не пріѣдетъ, и Таня будетъ по прежнему одна, здѣсь, гдѣ ея доля такъ несчастна, гдѣ ея никто не понимаетъ, гдѣ она должна молча гибнуть, потому что, еще деревенская, природная, стихійная, она, однако, для осуществленія своего единства, своей цѣльности, для своего завершенія, нуждается

сверхъ того и въ книгѣ, въ романѣ, въ культурѣ, и деревня уже не можетъ ея понимать, какъ понимаетъ ея сестру, и не можетъ съ нею говорить. Разсудокъ Татьяны изнемогаетъ среди этой элементарности. Но если бы послѣдняя не была возмущена неожиданнымъ появленіемъ Онѣгина, Татьяна, можетъ быть, смирила бы волненья своей неопытной души и въ глуши забытаго селенья сама бы стала забывшей, т. е. забросила бы свои романы и свои мечты,—была бы вѣрная супруга и добродѣтельная мать. Деревня сравняла бы ее съ матерью и съ Ольгой. И отсюда—этотъ вопросъ «зачѣмъ вы посѣтили насъ?», вопросъ, который бѣдная Лиза могла бы предложить Эрасту, Черкешенка—Плѣннику, природа—всѣмъ отщепенцамъ культуры.

Но въ глубинѣ души Татьяна знаетъ, что Онѣгинъ, котораго деревня позвала, не могъ не пріѣхать въ деревню; она знаетъ, что никто другой не могъ бы быть ея супругомъ и что когда она станетъ супругою другого, то будетъ любить Онѣгина. Руку свою она, когда ее съ слезами заклинаній молила мать, могла отдать другому, но сердце ея всегда принадлежало Онѣгину. «То въ высшемъ суждено совѣтѣ, то воля неба: я твоя». Въ самую эротику свою призываетъ она Бога. Съ безпредѣльной трогательностью и чистотою она отожествляетъ возлюбленнаго съ ангеломъ-хранителемъ; Онѣгинъ ей посланъ Богомъ, онъ—ея хранитель до гроба; они выборомъ неба, мистикой міра предназначены другъ для друга, и когда она Богу молилась, то такъ невинна и прозрачна была ея свѣтлая душа, что въ самой молитвѣ, ея кощунственно не прерывая, не оскорбляя, какъ оскорблялъ Демонъ молитву и келью Тамары,—въ самой молитвѣ, съ нею, богомолицей, говорилъ въ тиши Онѣгинъ, ея свыше предуказанный женихъ. Она въ любви не видитъ грѣшнаго; она любитъ, когда молится, она любитъ, когда бѣднымъ помогаетъ. Онѣгинъ символизируетъ и воплощаетъ для нея все прекрасное и благородное въ ней самой; онъ съ нею тогда, когда хрусталь ея души сіяетъ особенной бѣлизною и благостью религіи и добра. Вся бѣлая, бѣлая, дочь зимы, нравственная Снѣгурочка, она подъ вѣнцомъ, въ бѣломъ платьѣ, стояла бы подлѣ Онѣгина не съ потупленными глазами; она молилась бы, потому что она не отдѣляетъ молитвы отъ любви, Христа отъ жениха. Она—монастырка въ самой страсти своей, безгрѣшная въ самыхъ волненіяхъ своего полюбившаго сердца,—немеркнущая, чистая звѣзда любви.

Она предчувствовала Онѣгина; незримый онъ былъ уже ей милъ, и чуть вошелъ, она его вмигъ узнала, именно узнала, а не то, чтобы увидѣла въ первый разъ, и голосъ его тоже она уже слыхала когда-то (вѣроятно, тотъ ласкающій и властный голосъ,

который услышало въ немъ музыкальное наитіе Чайковскаго); и это была встрѣча душъ, которыя уже нѣкогда знали и ожидали одна другую. Но великая скорбь въ томъ, что Татьяна узнала, а Онѣгинъ нѣтъ,—не распозналъ въ ней своей незримой знакомки. Ангелъ-хранитель Татьяны, Онѣгинъ былъ въ то же время ея коварнымъ искусителемъ, потому что изъ-за него она погибла; онъ не оживилъ единымъ взоромъ надежды ея сердца, онъ его разбилъ. И она осталась одна—одинокая на всю жизнь.

Написала Татьяна свое письмо, замирая стыдомъ и страхомъ, но не рѣшается его перечесть, и даже облатка розовая сохнетъ на воспаленномъ языкѣ, и послѣ безсонной ночи, не замѣчая зари, своей любимой деревенской зари, она сидитъ задумавшись и на письмо не напираетъ своей печати вырѣзной. Входитъ няня; она очень добрая, но и очень недогадливая старушка, и ей кажется, что все прошло, что Таня здорова и лицо у нея какъ маковъ цвѣтъ. И такъ она недогадлива, къ досадѣ своей питомицы, что даже не знаетъ, къ кому послать тихонько съ запиской внука и кто этотъ сосѣдъ подъ буквой О—«кругомъ сосѣдей много есть»: она не подозрѣваетъ, что для Татьяны есть только одинъ сосѣдъ въ мірѣ и что изъ всей русской азбуки единственно любимы для нея буквы О да Е, тотъ завѣтный вензель, который она, задумавшись

На стекла хладныя дыша

. . . . . .

Прелестнымъ пальчикомъ писала
На отуманенномъ стеклѣ...

Подъ звуки чудной пѣсни «Дѣвицы-красавицы, душеньки-подруженьки», которую мимоходомъ какъ жемчужину уронилъ со своихъ устъ щедрый, расточительный Пушкинъ, ждетъ Татьяна, ждетъ съ нетерпѣньемъ, чтобъ трепетъ сердца въ ней затихъ; она еще потому такъ утомилась, что она порывисто бѣжала отъ въѣхавшаго на дворъ Онѣгина—и рисуетъ авторъ это ея бѣгство, это «прыгъ въ другія сѣни», эти переломанные кусты и сирень, рисуетъ съ милымъ налетомъ шутливости, не боясь ея и для своей грустной героини.

Она остановилась передъ Онѣгинымъ, который ее нашелъ и сталъ передъ ней подобно грозной тѣни. «Вы ко мнѣ писали,—не отпирайтесь»: она и не отпиралась. И вотъ онъ прочелъ ей свою печальную отповѣдь и посовѣтовалъ научиться властвовать собой...

Онѣгинъ шелъ по жизни, зѣвоту подавляя смѣхомъ, скептицизмомъ; но получивъ посланье Тани и легко раскрывъ ея слишкомъ

прозрачный анонимъ, онъ живо тронутъ былъ и душою погрузился въ сладостный, безгрѣшный сонъ, и на минуту овладѣлъ имъ чувствій пылъ старинный. Только онъ не повѣрилъ въ себя, свою постылую свободу потерять не захотѣлъ и оттолкнулъ отъ себя свое счастье, которое было такъ возможно, такъ близко.

Онъ искренне думалъ, что не обновитъ души своей, — между тѣмъ какъ это обновленіе, для мужчины такое обычное, было для него и доступно, и желанно; осуществимы для любящаго многія возрожденія любви. Онъ не понялъ ни себя, ни Татьяны; онъ пророчилъ ей, что она полюбитъ снова,—она, прекрасная однолюбка, она, чье любовное пламя горѣло однимъ и негаснущимъ свѣтомъ! Она слушала его молча, «безъ возраженій», и потомъ молча увядала, блѣднѣла, гасла, и надъ ея едва расцвѣтшей молодостью нависла безпросвѣтная тѣнь, заслонившая отъ нея ея любимое солнце. Жизнь Татьяны кончилась. Все остальное—только блѣдное мерцаніе прошлаго, вѣчное одиночество и тихая тоска. Какъ живая элегія будетъ она теперь двигаться среди людей, но для другихъ привѣтливая, никому своей печалью не досаждающая.

Всякій мертвый, подходя къ живому, убиваетъ. И Онѣгинъ, который былъ тогда близокъ къ нравственной смерти, не удовольствовался тѣмъ, что отравилъ душу Татьяны, но легкомысленно вошелъ и въ чужую простодушную любовь и смялъ ее однимъ прикосновеніемъ. Такъ беззаботно ворковали Ольга и Ленскій, и женихъ писалъ въ альбомъ своей невѣсты, «уѣздной барышни альбомъ», нѣжные стихи,—все о ней, велъ какую-то лѣтопись объ Ольгѣ, поэтическій дневникъ, рисовалъ ей сельски виды, надгробный камень, храмъ Киприды или на лирѣ голубка; они, какъ шекспировскіе Миранда и Фердинандъ, играли въ шахматы, — правда, не очень внимательно, и случалось, что Ленскій въ разсѣяньи бралъ пѣшкою свою ладью; и вотъ эту игру шахматъ и любви Онѣгинъ такъ грубо прервалъ, и мирная идиллія смѣнилась трагедіей.

Вообще, трагическое въ «Евгеніи Онѣгинѣ» появляется такъ неожиданно и въ то же время такъ необходимо; жизнь знаетъ эти переходы отъ именинного вечера къ смерти, къ убійству, и незамѣтно привелъ насъ Пушкинъ къ пролитой крови Ленскаго. Когда наступила деревенская зима, пришла, разсыпалась, клоками повисла на сукахъ деревъ, легла волнистыми коврами среди полей, вокругъ холмовъ, и засеребрились морозы среди полей и снѣгъ сталъ мелькать и виться звѣздочками, тогда Онѣгинъ еще болѣе заскучалъ, и деревня докучала его взору «однообразной наготой», и онъ игралъ съ самимъ собою на бильярдѣ. Можетъ быть, для того, чтобы разсѣять эту скуку, еще болѣе оттѣненную помѣщичьей забавою именинъ съ ихъ Пустя-

ковыми и Буяновыми, онъ, разсердившись на радостнаго Ленскаго, и рѣшилъ небрежно подшутить надъ его любовью. Онъ не пожалѣлъ Тани, которая стала утренней луны блѣднѣй и трепетнѣй гонимой лани, когда она увидѣла его; онъ не оцѣнилъ, что она, будущая свѣтская княгиня, превозмогла свое волненье, свой обморокъ; онъ былъ сердитъ, и чтобы отомстить Ленскому, выбиралъ для танцевъ не Татьяну, а Ольгу, и, вообще такой скупой на рѣчи, бесѣдовалъ съ нею о томъ, о семъ. Но, конечно, вслѣдъ за тѣмъ какъ Ленскій скрылся, не имѣя силъ вынести того жизненнаго удара, того испытанія судьбы, что Ольга отдала котильонъ не ему, Онѣгинъ сейчасъ же опять подпалъ скукѣ и молчаливости и близъ Ольги «въ думу погрузился» — нашелъ время и мѣсто, и сосѣдство, когда и гдѣ погружаться въ думу!.. Недумающая Ольга около думающаго Онѣгина зѣвала, и безконечный котильонъ ее томилъ какъ тяжкій сонъ.

Онѣгинъ обвинялъ себя во многомъ; однако въ ночь передъ дуэлью онъ спалъ мертвымъ, глубокимъ сномъ,—а Ленскій въ это время читалъ Шиллера и писалъ стихи. Онѣгинъ не спѣшилъ умереть или убить, а Ленскій ждалъ нетерпѣливо. У кипящаго Ленскаго—вѣра и поэзія, страстность впечатлѣній, Онѣгинъ же все предвидитъ, и опытъ остудилъ его сердце. Ленскій предчувствовалъ свою смерть, Онѣгинъ—свою мертвую жизнь. И сжалось сердце у юнаго поэта, когда онъ прощался съ Ольгой въ вечеръ передъ поединкомъ; и вообще такъ оттѣняетъ онъ собою своего безстрастнаго противника. Стихи Ленскаго, которые онъ читалъ вслухъ въ лирическомъ жару, сохранились—этотъ меланхолическій вздохъ умирающей молодости, эта нѣжная романтика словъ и настроеній, эта прекрасная сантиментальность. Золотые дни весны, на самомъ дѣлѣ только прилетѣвшей, а не удалившейся, и стрѣла, и лучъ денницы, и медленная Лета, и ранняя урна, и дѣва красоты—все это звучитъ обаятельной старинной музыкой, грустной и ласкающей, и нѣтъ элегіи болѣе неотразимой, и за романтиковъ, не будучи однимъ изъ нихъ, написалъ Пушкинъ самое характерное и самое художественное изъ произведеній романтической лиры.

Ленскій былъ пронзенъ стрѣлою Онѣгина. Тонкія внѣшнія и психологическія детали, въ которыхъ описана эта дуэль, представляютъ не только эстетическую цѣнность: нѣтъ, здѣсь—художественное ясновидѣніе, здѣсь Пушкинъ, въ предчувствіи собственной судьбы, ее упредилъ и сквозь магическій кристаллъ своего генія разглядѣлъ, разгадалъ свою смерть,—вѣщее гаданіе поэта! Когда были пройдены первые шаги, первыя смертныя ступени, первый выстрѣлилъ Онѣгинъ, какъ впослѣдствіи Дантесъ, и поэтъ упалъ. Со

временъ «Ивиковыхъ журавлей» убиваютъ, убиваютъ пѣвцовъ! И къ сонму усопшихъ поэтовъ вслѣдъ за героемъ ушелъ его творецъ, за Ленскимъ—Пушкинъ, за Пушкинымъ—Лермонтовъ.

Онѣгинъ, мгновеннымъ холодомъ облитъ, зоветъ юношу,—но поздно: тотъ уже не слышитъ ничьего зова и лежитъ недвижный, томный, тихій, между тѣмъ какъ назадъ одно мгновенье это была такая живая, такая полная душа: играла жизнь, кипѣла кровь.

Теперь, какъ въ домѣ опустѣломъ,
Все въ немъ и тихо, и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окна мѣломъ
Забѣлены. Хозяйки нѣтъ.
А гдѣ, Богъ вѣсть. Пропалъ и слѣдъ.

Вѣетъ ощущеніемъ дома безъ людей; такъ и видишь эти забѣленныя мѣломъ окна въ пустомъ жилищѣ. Гдѣ душа, хозяйка тѣла? Богъ вѣсть—пропалъ и слѣдъ, тотъ слѣдъ, котораго давно уже и такъ безплодно ищетъ человѣчество. Исчезла душа—всѣ эти жаркія волненья и благородныя стремленія, вся эта красота и богатство юной психики. Но если бы даже она не исчезла, что́ стало бы съ нею дальше, какова человѣческая участь? Пушкинъ рисуетъ двѣ противоположныя картины. Съ необычайнымъ подъемомъ вдохновенія говоритъ онъ о гремучемъ, непрерывномъ звонѣ лиры, о славѣ, о высокой ступени на ступеняхъ свѣта.

Его страдальческая тѣнь,
Быть можетъ, унесла съ собою
Святую тайну, и для насъ
Погибъ животворящій гласъ,
И за могильною чертою
Къ ней не домчится гимнъ временъ,
Благословенія племенъ.

Нельзя читать этихъ стиховъ безъ волненія, безъ гордости и радости за человѣческое достоинство и величіе. Но съ этой высоты Пушкинъ, поэтъ правды, сейчасъ же низвергаетъ насъ и въ другую, печальную, возможность и говоритъ о иной долѣ—о томъ омертвѣніи души, котораго онъ самъ для себя такъ не хотѣлъ, такъ боялся. Пушкинъ зналъ, что и поэтъ не обезпеченъ отъ пошлости; и можетъ быть

поэта
Обыкновенный ждалъ удѣлъ,
Прошли бы юношества лѣта,

Въ немъ пылъ души бы охладѣлъ,
Во многомъ онъ бы измѣнился,
Разстался бъ съ музами, женился;
. . . . . .
Пилъ, ѣлъ, скучалъ, толстѣлъ, хирѣлъ,
И, наконецъ, въ своей постелѣ
Скончался бъ посреди дѣтей,
Плаксивыхъ бабъ и лѣкарей.

Разстаться съ музами, замѣнить ихъ женою, къ музамъ равнодушной, охладѣть и привыкнуть къ жизни: Пушкина очень тревожила такая участь и всѣ эти характерныя житейскія детали, эта внѣшняя обрюзглость: пилъ, ѣлъ, толстѣлъ (съ убылью духовнаго содержанія все больше мѣста занимаетъ собою человѣческая фигура)...

Но будемъ вѣрить, что Ленскій избѣжалъ бы всего этого, и пойдемъ влѣво отъ селенья на его раннюю могилу подъ соснами, гдѣ у извилистаго ручья, докатившагося изъ сосѣдственной долины, въ тѣни густой поставленъ памятникъ простой. Нѣтъ во всей нашей литературѣ ничего поэтичнѣе этого уголка:

Тамъ пахарь любитъ отдыхать
И жницы въ волны погружать
Приходятъ звонкіе кувшины;

нѣтъ ничего музыкальнѣе этихъ стиховъ, посвященныхъ могилѣ, и нѣтъ ничего трогательнѣе этой поэтической паннихиды. Весною тамъ, въ тѣни простого памятника, какъ начинаетъ капать весенній дождь на злакъ полей, пастухъ поетъ про волжскихъ рыбарей (а рыбари, вѣроятно, поютъ про пастуховъ, каждый—о другомъ). Но всего замѣчательнѣе эта горожанка молодая, которая, въ деревнѣ лѣто провождая, навѣщаетъ скромный памятникъ юноши.

Когда стремглавъ верхомъ она
Несется по полямъ одна,—
Коня предъ нимъ останавляетъ,
Ременный поводъ натянувъ,
И флеръ отъ шляпы отвернувъ,
Глазами бѣглыми читаетъ
Простую надпись, и слеза
Туманитъ нѣжные глаза.

Благодатно и прекрасно неожиданное появленіе этой амазонки. Она въ деревнѣ лѣто провождаетъ и потому невольно входитъ въ сплетеніе чужихъ судебъ, съ которыми и она роднится своимъ

женскимъ участіемъ, слезами своихъ нѣжныхъ глазъ. Въ чудной фигурѣ этой незнакомки, какъ это ни странно, какъ это ни счастливо для насъ, воплощаемся именно мы, всѣ читатели «Евгенія Онѣгина». Она тоже его читаетъ, но какъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ, пріобщенное поэтомъ къ кругу его твореній, потому что и сама она, тоже какъ сестра, пріобщилась къ Татьянѣ и Ольгѣ, и Ленскому. И она—словно хоръ изъ античной трагедіи; на ней видны то нравственное дѣйствіе, тѣ эмоціи, которыя вызываетъ у слушателей пушкинскій романъ. Въ самое пѣснопѣніе ввести живой моментъ его впечатлѣнія; создать образъ той, которая одновременно—и героиня, и читательница, упредить нашъ читательскій откликъ на событія: это—пріемъ изумительный по красотѣ и задушевности, и пріемъ, конечно, не придуманный для эффекта, а неожиданно зародившійся въ порывѣ творческаго восторга. Горожанка молодая, временная, лѣтняя жительница деревни, верхомъ несется по полямъ одна, и несется стремглавъ; но когда она, прекрасная амазонка, остановитъ коня передъ памятникомъ, натянетъ ременный поводъ и, чтобы лучше видѣть, отвернетъ флеръ отъ шляпы и бѣглыми глазами прочтетъ простую надпись:

„Владиміръ Ленскій здѣсь лежитъ,
„Погибшій рано смертью смѣлыхъ,
„Въ такой-то годъ, такихъ-то лѣтъ.
„Покойся, юноша-поэтъ“,—

тогда уже ея глаза будутъ не бѣглые, а нѣжные, отуманенные слезой, и уже не стремглавъ будетъ она носиться въ полѣ, а поѣдетъ шагомъ, и, прервавъ свой стремительный бѣгъ по чистому полю, по жизни, она погрузится въ мечтанье, въ грустную думу и станетъ спрашивать, какъ и всѣ мы, другіе читатели:

Что-то съ Ольгой стало?
Въ ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слезъ прошла пора?
И гдѣ теперь ея сестра?
И гдѣ жъ бѣглецъ людей и свѣта,
. . . . . .
Гдѣ этотъ пасмурный чудакъ,
Убійца юнаго поэта?

Самъ Пушкинъ въ этомъ мѣстѣ своего романа погрузился въ размышленье, въ элегическое мечтанье. Картина дуэли Ленскаго и собственной, могила юноши-поэта и эта горожанка молодая навѣяли на него думы и побудили его остановиться и обернуться на прой-

денную дорогу. Убитъ Ленскій, и отлетѣли сны поэзіи святой, и нѣтъ ужъ мыслей молодыхъ, высокихъ, нѣжныхъ, удалыхъ,—и въ связи съ этимъ Пушкинъ, вѣчный спутникъ своихъ героевъ, лирическій братъ ихъ, вспоминаетъ о томъ, что и собственная молодость его прошла, и риѳма не такъ уже влечетъ къ себѣ его воображеніе, и не мечты, а строгія заботы, суровая проза жизни начинаютъ тревожить сонъ его слишкомъ взрослой души. И такимъ естественнымъ человѣческимъ недоумѣніемъ звучитъ этотъ, въ разныхъ варіаціяхъ всѣмъ знакомый, вопросъ:

Ужель мнѣ скоро тридцать лѣтъ?

Трагически-незамѣтно накопляются годы; ихъ долго не считаемъ мы, а считаетъ кто-то за насъ, и когда внезапно появится въ умѣ ихъ роковая цифра, ихъ кѣмъ-то неумолимо подведенный итогъ, тогда это кажется такъ странно и такъ страшно. Но вотъ Пушкинъ, свѣтлый, ясный, довольный, не устрашился тѣмъ, что увялъ, увялъ вѣнецъ его молодости и весна его промчалась дней, и насталъ его полдень. Онъ побѣдилъ свою грусть, онъ принялъ человѣческій жребій и, благодарный, дружно простился со своей легкой юностью. Онъ признательно оглянулся на нее, онъ отдалъ ей глубокій поклонъ своей любви—и пошелъ дальше. Не всякій способенъ на это. Пушкинъ только помолился своему богу, своему «младому вдохновенію» (вдохновеніе всегда молодо, и именно въ немъ не старѣетъ, не умираетъ жизнь),—онъ только взялъ съ собою въ новый путь нравственную молодость и упованіе на то, что его не постигнетъ вторая, возможная участь Ленскаго, что поэзія будетъ пробуждать дремоту его сердца (такъ легко задремать въ жизни) и не остынетъ, не ожесточится, не очерствѣетъ его душа. Поэзія—панацея отъ старости и смерти. Мы уже знаемъ, какой у него былъ страхъ передъ мертвой душою, и, кромѣ того, было у него содроганіе передъ свѣтскимъ омутомъ,—словно онъ предчувствовалъ, что тамъ его утопятъ... И бичующая, горькая, дрожащая обидой характеристика этого омута, могилы Пушкина, этой жестокосердой суеты, вчужѣ угнетаетъ, потому что ясно отсюда, какъ задыхался поэтъ и какъ было ему жутко и одиноко среди бездушныхъ гордецовъ, среди блистательныхъ глупцовъ—тамъ, гдѣ, какъ Чацкаго, всѣ гонятъ, всѣ клянутъ. Въ срединѣ жизни, nel mezzo del cammin di nostra vita, съ отчаяніемъ и усталостью въ разочарованномъ сердцѣ видишь людей въ освѣщеніи Свифта и Гоголя,—быть можетъ, въ ихъ настоящемъ свѣтѣ? Мы такъ привыкли къ своей и чужой нравственной неприглядности, считаемъ ее въ порядкѣ вещей; но бываютъ мгновенья, когда исчезаетъ миролюбіе удобной привычки и, посмотрѣвъ вокругъ себя и въ себя, мы, по-

давленные, замѣчаемъ всю му́ку дурной человѣчности, искаженныя души, безобразный карнавалъ пороковъ. И съ горечью, противъ воли, повторяютъ утомленныя уста: «кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ въ душѣ не презирать людей», и на вопросъ: «кого жъ любить, кому же вѣрить, кто не измѣнитъ намъ одинъ?» слѣдуетъ печально-ироническій отвѣтъ: «любите самого себя»,—не потому, чтобы мы были достойны любви и недостойны презрѣнія, а просто потому, что себѣ прощаешь, себя кое-какъ влачишь... Впрочемъ, у Пушкина именно было право любить себя, и было ему куда уходить въ тѣ скептическія и трудныя минуты жизни, когда, какъ чудища въ Татьяниномъ снѣ, дефилировали передъ нимъ люди, разоблаченные отъ своихъ душевныхъ одеждъ и удручающіе всѣмъ этимъ зрѣлищемъ накопленныхъ человѣческихъ недостатковъ.

Онъ уходилъ въ себя, въ природу, въ свою чистую поэзію, нашъ беззавѣтный пѣвецъ, и когда наступала грустная для него пора любви, томительная весна, онъ опять звалъ насъ изъ города въ деревню, на живую могилу поэта (и здѣсь такія нѣжныя строфы!), туда, гдѣ у гробового входа играетъ молодая жизнь.

Межъ горъ, лежащихъ полукругомъ,
Пойдемъ туда, гдѣ ручеекъ,
Вiясь, бѣжитъ зеленымъ лугомъ
Къ рѣкѣ сквозь липовый лѣсокъ.
Тамъ соловей, весны любовникъ,
Всю ночь поетъ, цвѣтетъ шиповникъ
И слышенъ говоръ ключевой.
Тамъ виденъ камень гробовой
Въ тѣни двухъ сосенъ устарѣлыхъ.

Въ тѣни этого памятника по прежнему сидитъ пастухъ, сѣдой и хилый, и поетъ свою пѣсню про волжскихъ рыбарей, и плететъ бѣдную обувь. Но ужъ на вѣтвяхъ сосны преклоненной не виситъ таинственный вѣнокъ, и уже не ходятъ сюда двѣ подруги плакать при лунѣ. «Мой бѣдный Ленскій!» Надъ его ранней урной не много слезъ пролила дѣва красоты,—она забыла о своемъ супругѣ, она измѣнила ему. Но ея печальная сестра осталась неизмѣнной, и любитъ она убійцу брата своего, и сердце ея рвется пополамъ, и въ одиночествѣ жестокомъ сильнѣе страсть ея горитъ. Если бъ до поединка Ленскій зналъ, «какая рана моей Татьяны сердце жгла», можетъ быть, друзья помирились бы и не заспорили о могильной сѣни, и было бы меньше одной измѣной женскаго сердца и

больше однимъ поэтомъ на свѣтѣ. Но молчала молчаливая Татьяна, изнывала тайно;

Одна бы няня знать могла,
Да недогадлива была,—

это добрая, недогадливая няня...

Есть что-то символическое и провиденціальное въ томъ, что въ своихъ одинокихъ скитаніяхъ по лѣсамъ и въ полѣ чистомъ, луны при свѣтѣ серебристомъ, Татьяна вдругъ увидѣла предъ собою домъ Онѣгина. Едва дыша, вошла она въ это завѣтное жилище, въ этотъ очарованный замокъ, но тамъ ее встрѣтила прежде всего милая проза. Появились на усадебномъ дворѣ неизбѣжныя собаки, напугали Таню, пока дворовые мальчишки не взяли барышню подъ свой покровъ; затѣмъ побѣжали дѣти къ Анисьѣ за ключами, и словоохотливая Анисья стала водить любезную гостью по барскому дому и разсказывала не столько про Онѣгина, чуждаго ей, старой ключницѣ, сколько про стараго барина, такого понятнаго:

Со мной бывало въ воскресенье
Здѣсь, подъ окномъ, надѣвъ очки,
Играть изволилъ въ дурачки...

Долго осматривала Татьяна взоромъ умиленнымъ кабинетъ далекаго Онѣгина, и ужъ стало поздно, и холодно, и съ безконечной ласковостью и участіемъ говоритъ поэтъ, что «пилигримкѣ молодой пора, давно пора домой». Но ей не хочется отсюда уходить, изъ этой обители возможнаго, неосуществленнаго счастья, и она будетъ еще и еще совершать сюда свои дѣвичьи паломничества и долго плакать, въ молчаливомъ кабинетѣ, о своемъ разбитомъ сердцѣ, о своей погубленной жизни, а потомъ читать, жадно читать книги Онѣгина и по шифру его отмѣтокъ разгадывать его душу.

Пушкинъ не сказалъ опредѣленно, что̀ прочла Татьяна въ Онѣгинѣ, какъ она разрѣшила загадку, дѣйствительно ли она приняла его за подражаніе и пародію. Мы видимъ, что поэтъ здѣсь ставитъ вопросы, но не отвѣчаетъ на нихъ. Мы только увѣрены въ одномъ, зато въ главномъ: Татьяна не разлюбила Онѣгина. Она, вѣроятно, поняла, что въ немъ, кромѣ искренняго, было и много притворнаго, но она взяла его со всѣми его причудами и недостатками; она одинаково любила его, когда не понимала и когда поняла.

Но вотъ ее, занятую этой первой и послѣдней любовью своею, увозятъ въ Москву, на ярмарку невѣстъ. Бѣдная Таня переживала страшный моментъ безразличія, когда человѣку всѣ жребіи равны, и если въ тотъ знаменательный для нея годъ золотою осенью при-

рода была трепетна, блѣдна, какъ жертва пышно убрана, то и сама Татьяна была жертвой, потому что ее отрѣшили отъ ея главной стихіи—отъ этой самой природы, отъ села, отъ дорогой для нея глуши лѣсовъ, и она трогательно прощалась съ ними, со своими долинами и холмами, и смотрѣла на нихъ, какъ и на домъ Онѣгина, умиленными очами. Ее, дитя деревни, подругу рощъ и луговъ, перенесли въ новую и чуждую сферу большого города.

Она и въ Москвѣ осталась вѣрной солнцу, вставала подъ раннiй звонъ колоколовъ и по своему обыкновенію садилась у окна: но не привольныя поля разстилались передъ нею, а виднѣлся московскiй пейзажъ:

Предъ нею незнакомый дворъ,
Конюшня, кухня и заборъ...

Бѣдная плѣнница, она скучаетъ здѣсь, попрежнему одинокая, но еще болѣе несчастная (потому что легче переносить одиночество въ пустынѣ, чѣмъ въ пестрой и чужой людности), и ей душно здѣсь:

она мечтой
Стремится къ жизни полевой,
Въ деревню, къ бѣднымъ поселянамъ,
Въ уединенный уголокъ,
Гдѣ льется свѣтлый ручеекъ,
Къ своимъ цвѣтамъ, къ своимъ романамъ
И въ сумракъ липовыхъ аллей,
Туда, гдѣ онъ являлся ей.

Онъ, связанный съ цвѣтами и романами, двумя стихіями ея духа, не проходитъ для нея, и она какъ святыню лелѣетъ свою любовь, «завѣтный кладъ и слезъ, и счастья»—меньше счастья, чѣмъ слезъ, которыхъ она въ уединеніи и молчаніи такъ много пролила на своемъ вѣку,—она, столько жизни давшая и ничего не получившая отъ жизни взамѣнъ, ни одного поцѣлуя любимыхъ устъ.

Многіе годы шелъ Пушкинъ рядомъ съ «Евгеніемъ Онѣгинымъ», и оттого Муза его въ концѣ концовъ отожествилась съ Татьяной. Въ началѣ восьмой главы романа онъ разсказалъ намъ свою поэтическую автобіографію, въ геніальномъ очеркѣ намѣтилъ ростъ своей Богомъ отмѣченной души, возрожденія своей Музы. Она любила его еще въ младенчествѣ и вручила ему семиствольную цѣвницу, на которой онъ наигрывалъ дѣтскими перстами. Она озарила его студенческую келью, обласканная Державинымъ; она была рѣзвой вакханкой и романтической Ленорой, скакавшей по скаламъ Кавказа при лунѣ, и той религіозной язычницей или христіанкой, которая

учила его слушать, какъ молится море, какъ немолчно шепчетъ Нереида; и черноокой цыганкой, и уѣздной барышней, и этимъ живымъ полевымъ цвѣткомъ, этой прекрасной степнячкой, которая тихо пришла на свѣтскій раутъ и любуется его шумной тѣснотою и «темной рамою мужчинъ вкругъ дамъ, какъ около картинъ».

На раутѣ муза Пушкина встрѣтила Онѣгина—въ позднюю осень его духа, безъ цѣли, безъ трудовъ, томящагося въ бездѣйствіи досуга и съ окровавленной тѣнью Ленскаго въ прошломъ, въ неуходящемъ прошломъ. Не узнавъ въ деревенской дѣвушкѣ своего спасенія, своей нареченной невѣсты, убивъ ея брата, онъ подпалъ безпокойству, охотѣ къ перемѣнѣ мѣстъ, далъ волю своей центробѣжной силѣ; но какъ на героевъ лермонтовской «Думы», этотъ ровный путь безъ цѣли, это вѣчное скитальчество навели на него еще бо́льшую тоску, надоѣли ему, какъ все на свѣтѣ; онъ съ чужбины возвратился на столь же чуждую для него родину и попалъ какъ Чацкій съ корабля на балъ.

Пушкинъ разсказалъ намъ о его путешествіяхъ, потому что онъ всюду сопровождалъ своего героя—и на Кавказъ, и на брега Тавриды, и въ пыльную Одессу, которая спитъ въ бездыханную, теплую, нѣмую ночь,—а море Черное шумитъ... Но въ Одессѣ они разстались, недолго побродивъ вмѣстѣ по берегамъ Эвксинскихъ водъ, такъ какъ Онѣгинъ, «очень охлажденный и тѣмъ, что видѣлъ, пресыщенный, пустился къ невскимъ берегамъ», а поэтъ уѣхалъ въ тѣнь лѣсовъ Тригорскихъ: Пушкинъ всегда готовъ былъ замѣтить разность между Онѣгинымъ и собой (хотя это и не спасло его отъ Писарева). И въ самомъ дѣлѣ, Онѣгину некуда было возвращаться, какъ и некуда было ѣхать, а Пушкинъ, привязчивый, всюду благословлялъ своихъ друзей, и каждое мѣсто, куда его посылала его блуждающая судьба, становилось частью его родины. И потому онъ оставлялъ тамъ свою душу, и онъ неправъ, когда говоритъ о своихъ «безъименныхъ уголкахъ»: нѣтъ, своимъ присутствіемъ, физическимъ и духовнымъ, онъ безъименному далъ навѣки имена, освятилъ и назвалъ его, и безсмертной жизнью живутъ въ русской литературѣ всѣ эти и для насъ родные, и для насъ дорогіе тригорскія нивы, и михайловскія рощи, и берегъ Сороти отлогій, гдѣ Пушкинъ свой слѣдъ оставилъ

И вѣтру въ дань, на темну ель,
Повѣсилъ звонкую свирѣль,—

немолчную свирѣль своей поэзіи и своего любящаго сердца...

На свѣтскомъ раутѣ Татьяна была такъ же неговорлива, какъ она была дика, печальна, молчалива у себя въ деревнѣ. И тѣмъ не менѣе,

на нее, даму въ малиновомъ беретѣ, Онѣгинъ направилъ свой уже не разочарованный, а неотвязчивый лорнетъ, и съ этихъ поръ до конца дней своихъ не будетъ уже онъ отводить отъ нея влюбленныхъ глазъ. Теперь онъ понялъ, кого онъ любилъ всю жизнь; теперь онъ понялъ, что̀ значила для него эта голова въ малиновомъ беретѣ. Въ свѣтской рамѣ, въ бесѣдѣ съ посломъ испанскимъ Татьяна стала для него понятной, и въ этотъ мигъ онъ уразумѣлъ всю трагедію своей судьбы, всю роковую ошибку своей гордыни. И потому его любовь имѣетъ теперь такой безумный, такой мученическій характеръ. Это не только любовь, это—смерть. Онъ умираетъ отъ любви. Его чувство сразу дѣлается трагедіей,—и это такъ естественно. Вечерняя страсть Онѣгина горитъ какимъ-то зловѣщимъ пламенемъ, послѣднимъ огнемъ догорающей жизни, серьезная и страшная. И это не только потому, что она вспыхнула въ возрастъ поздній и безплодный, на поворотѣ нашихъ лѣтъ, а потому, что она явилась Онѣгину какъ позднее откровеніе и отчаяніе.

Между тѣмъ Татьяна спокойна. Неожиданное появленіе Онѣгина не могло прибавить очень многаго къ ея душѣ, къ ея настроеніямъ: она всегда о немъ думала, онъ всегда для нея присутствовалъ, и незримый былъ онъ ей милъ. Въ утонченной культурѣ она осталась простой; внѣшнимъ образомъ измѣнившаяся, принявъ всѣ пріемы утѣснительнаго сана, она внутренне была все той же Таней, прежней бѣдной Таней; и потому въ ея сердцѣ все время жилъ прежній Онѣгинъ, гдѣ бы онъ ни путешествовалъ, кого бы онъ ни убивалъ. Но читать безумно-страстное посланье Онѣгина, видѣть эти поздніе, искаженные, теперь уже непріемлемые дары жизни, слышать ея убійственную насмѣшку,—это очень тяжело и ей, Снѣгурочкѣ, даже и ей, хотя она прежде сидѣла передъ Онѣгинымъ покойна и вольна. И оттого, когда неубранная, блѣдная, она перечитывала его письмо, она тихо слезы лила рѣкой, и въ этотъ мигъ всякій могъ бы прочесть ея нѣмыя страданія (вѣдь она—прекрасная нѣмая, святая молчальница, она, умѣвшая цѣлый день молча сидѣть у окна).

Она читаетъ и перечитываетъ его письмо, въ которомъ онъ горько жалуется на свою слѣпоту, на свое заблужденіе. Какъ онъ ошибся, какъ наказанъ! Вольность и покой не замѣняютъ счастья. Чужой для всѣхъ становится чужимъ и для себя. Счастье—въ связанности, въ томъ, чтобы умирать у ногъ любимой женщины, блѣднѣть и гаснуть. Теперь только получила Таня (какая иронія судьбы!) истинный отвѣтъ на свое письмо, на тѣ изліянія любви невинной, которой Онѣгинъ не умѣлъ тогда оцѣнить. Но ея письмо, ея вопросъ были какъ утреннее сіяніе, а здѣсь—какая жуть, какой

стонъ осенней страсти, какой демонизмъ въ самой мольбѣ! Нѣтъ, не смиренна эта мольба, не робки эти слова на воспаленныхъ, запекшихся, больныхъ устахъ. Судьба отсчитала уже его дни, вѣкъ его уже измѣренъ,—такъ неужели на его печальный закатъ, на закатъ безсолнечнаго дня, не блеснетъ любовь улыбкою прощальной? О, если бъ *она* знала муки любви (она ли ихъ не знала?)! О, если бъ она знала, какъ ужасно томиться жаждою любви, жаждою рыданій, когда хочется припасть къ колѣнямъ возлюбленной и высказать все то, чѣмъ полна рыдающая душа, всѣ мольбы, признанія, пени,—а между тѣмъ насмѣшливая жизнь требуетъ притворнаго холода рѣчей и взоровъ! Какая мука — быть вдали отъ той, которая такъ близка жаждущему сердцу! Всю жизнь, и свою замученную совѣсть съ окровавленной тѣнью Ленскаго, и свое порочное прошлое, и свое несчастное настоящее принести и сложить у ногъ Татьяны, сказать ей слова своей пламенной, безумной, безмѣрной любви: горе, что этого нельзя, нельзя! Она его не замѣчаетъ, эта женщина, которая только его и видѣла на свѣтѣ, которая когда-то въ лунныя ночи дѣвственно грустила и мечтала совершить съ нимъ смиренный жизни путь.

Онѣгинъ опять ушелъ въ книги, читалъ безъ разбора всѣхъ, не отвергая ничего; но въ сущности передъ нимъ была та единственная книга, которую только мы и читаемъ всю свою жизнь: именно— самая эта жизнь. И перечитывая ее духовными глазами, Онѣгинъ вспоминалъ прошлое, и развертывался передъ нимъ длинный свитокъ, въ которомъ онъ разбиралъ

тайныя преданья
Сердечной, темной старины,
Ни съ чѣмъ не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздоръ живой,
Иль письма дѣвы молодой.

Воображенье мечетъ передъ нимъ «свой пестрый фараонъ»; онъ видитъ недвижимаго юношу на таломъ снѣгѣ и слышитъ этотъ всю жизнь несмолкающій голосъ Зарѣцкаго, этотъ смертный приговоръ: «что-жъ? убитъ!» («убитъ!—симъ страшнымъ восклицаніемъ сраженъ, Онѣгинъ съ содроганьемъ отходитъ»); но надъ всѣми грезами и видѣніями поднимается одно:

То сельскій домъ—и у окна,
Сидитъ *она*... и все она.

Татьяна читаетъ письмо Онѣгина, и вдругъ она видитъ: предъ нею Онѣгинъ, «на мертвеца похожій». «Въ тоскѣ безумныхъ сожа-

лѣній», сожалѣній о своей погибшей жизни, о своемъ нравственномъ самоубійствѣ, о трагическомъ недоразумѣніи своей судьбы, «къ ея ногамъ упалъ Евгеній», съ больнымъ, угасшимъ взоромъ. Татьяна вздрогнула, но молчитъ и глядитъ на него безъ удивленія, безъ гнѣва. Она не удивлена, потому что такъ естественно его присутствіе, и развѣ не видѣла она его раньше около себя? И медленно проносится эта исключительная минута жизни, и трепетно быть ея свидѣтелями. «Она его не подымаетъ и не сводя съ него очей», этихъ очей, которыя такъ любили его, такъ любили смотрѣть на него, «отъ жадныхъ устъ» его, отъ влюбленныхъ и гаснущихъ устъ его, «не отымаетъ безчувственной руки своей», потому что нѣтъ силъ у Татьяны отнять эту руку отъ дорогихъ ей устъ, и нѣтъ силъ у нея въ эти единственныя мгновенія что-нибудь сдѣлать, что-нибудь сказать. «Проходитъ долгое молчанье». И не только долгое молчанье, но за это время передъ ними обоими проходитъ и вся ихъ жизнь, и тихо окружили ихъ вызванныя тѣни прошлаго. Они молчатъ. И Татьяна вспоминаетъ деревню, лунную ночь, разговоръ съ няней, и свое письмо, и эту аллею, на которой блистая взорами стоялъ Евгеній; и слышитъ она: «Дѣвицы-красавицы, душеньки-подруженьки», и эти другія, эти роковыя слова: «мечтамъ и годамъ нѣтъ возврата, не обновлю души моей»; и видитъ она себя въ кабинетѣ Онѣгина, среди его книгъ и надписей, тамъ, гдѣ лорда Байрона портретъ и бюстикъ Наполеона съ руками, сжатыми крестомъ; и потомъ она переносится въ Москву, на душный балъ, между двухъ тетокъ у колонны... Они молчатъ. И видитъ Онѣгинъ, приникнувъ къ рукѣ Татьяны, прекрасную дѣвушку, которая, блѣдна и молчалива какъ Свѣтлана, вошла и сѣла у окна; и вспоминаются ему: «я вамъ пишу... чего же болѣ?», и эта самая Свѣтлана въ саду, въ аллеѣ, и ея молчаніе, ея слезы, ея склонившаяся отъ его проповѣди томная головка, и именинный вечеръ, когда Татьяны томный видъ, ея смущеніе, усталость въ его душѣ родили жалость, и Ленскій, который роняетъ молча пистолетъ, на грудь кладетъ тихонько руку и падаетъ. Тихо, тихо въ комнатѣ, и тѣни невозвратнаго прошлаго рѣютъ и осѣняютъ задумавшуюся Татьяну и колѣнопреклоненнаго предъ нею Онѣгина.

«И тихо, наконецъ, она»:

Довольно, встаньте...

Она мало вѣритъ въ силу и серьезность его чувства, и въ этомъ ея единственная ошибка (если только не допустить, что Татьяна просто изъ состраданія къ нему хочетъ убѣдить его въ этой мнимой слабости его любви, хочетъ спасти его отъ трагедіи). Ей кажется, что Евге-

нія привела къ ея ногамъ суетность и такая «малость», «чувство мелкое». Объяснить это печальное заблужденіе Татьяны надо тѣмъ, что она сама любила слишкомъ исключительно, слишкомъ безусловно, для того чтобы она могла признать, будто любовь покоряется времени и въ ней возможны перерывы. Кто любитъ теперь, тотъ не могъ не любить и раньше: такъ думаетъ Татьяна, для которой любовь сверхвременна и вѣчна. Но если бы даже она повѣрила вполнѣ, если бы она приняла чувство Онѣгина во всей его трагической серьезности, она отвѣтила бы то же, что и теперь:

Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
Но я другому отдана:
Я буду вѣкъ ему вѣрна.

Она, благородная, не могла бы сказать ничего другого, свѣтлая Снѣгурочка, сотканная изъ страсти и стыда, изъ чувства и честности. Счастье не повторяется. Оно когда-то было такъ возможно, такъ близко (не только ея счастье, но и Онѣгина), а теперь на дорогѣ къ нему лежитъ чужое счастье и собственная честь, и Татьяна можетъ только плакать и со вздохомъ своей печали, своей женской элегіи, обернуться на свое прошлое и помянуть его такою нѣжной любовью, сыграть мелодію тончайшихъ сердечныхъ струнъ, и медленно пойти дальше по жизни постылой, по жизни скучной и лишь озаренной воспоминаніями тихаго прошлаго.

А мнѣ, Онѣгинъ, пышность эта—
Постылой жизни мишура,
Мои успѣхи въ вихрѣ свѣта,
Мой модный домъ и вечера,—
Что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ
За полку книгъ, за дикій садъ,
За наше бѣдное жилище,
За тѣ мѣста, гдѣ въ первый разъ
Онѣгинъ, видѣла я васъ;
Да за смиренное кладбище,
Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей
Надъ бѣдной нянею моей...

Навсегда западаютъ въ душу читателя эти хрустальныя слова, эти хрустальныя слезы...

Полка книгъ и дикій садъ, романы и природа, эти двѣ стихіи, родныя Татьянѣ, — вотъ чего недостаетъ ей въ шумѣ искусствен-

ности, въ блескѣ жизненнаго маскарада. Теперь она не можетъ читать прежнее и съ прежней душой. Ее окружаютъ притворные; она одна — природная, естественная. Если бы ей суждено было никогда не покидать тѣхъ благодатныхъ мѣстъ, гдѣ она въ первый разъ видѣла своего возлюбленнаго, если бы она могла посѣщать могилу бѣдной няни, наперсницы своей любви, тамъ, на этомъ смиренномъ кладбищѣ, гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей!..

Прозвучалъ этотъ дивный заключительный аккордъ романа, и Татьяна, такъ любившая и любящая Онѣгина, ушла отъ него, и онъ стоитъ одинъ, погруженный въ «бурю ощущеній». Ему больше не для чего и нечѣмъ жить, и скоро придетъ Татьяна на его могилу, неутѣшная вдова Онѣгина...

Романъ конченъ, и Пушкинъ прощается съ его героями и съ его читателями. «Та, съ которой образованъ Тятьяны милый идеалъ»... можетъ быть, она не любила поэта; но Россія благословляетъ ее, прекрасный прототипъ, и знаетъ ее по дивному образу, на который она вдохновила своего пѣвца. И не только ее, но и много, много отняла у Пушкина судьба, и пока онъ дописалъ послѣдніе стихи романа, промчалось много, много дней, и за этотъ промежутокъ ушли тѣ его слушатели, которымъ въ дружной встрѣчѣ онъ строфы первыя читалъ. Мѣняется кругъ слушающихъ пѣвца. «Иныхъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече». И можетъ быть, какъ съ грустью восклицаетъ Пушкинъ, блаженны тѣ, кто рано оставилъ праздникъ жизни, не дочиталъ до конца ея всегда печальнаго романа, не допилъ до дна бокала полнаго вина? Не допилъ своего вина и самъ Пушкинъ, и горькую чашу смерти, неутоляющій оцетъ поднесли къ его жаждавшимъ устамъ...

И вотъ лежитъ передъ нами это собранье «пестрыхъ главъ», пестрыхъ какъ сама жизнь; вотъ они, эти ума холодныя наблюденья и сердца горестныя замѣты; вотъ звучатъ они, эти сладкозвучные стихи, эти переливы словесной музыки, то шутливые, то печальные, то простые, то высокіе, но всегда плѣнительные. И отдавъ людямъ на вѣки вѣчные это сокровище, это великое сочетаніе эпоса и лирики, Пушкинъ со своимъ читателемъ прощается и говоритъ ему:

Кто бъ ни былъ ты, о мой читатель,
Другъ, недругъ—я хочу съ тобой
Разстаться нынче какъ пріятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здѣсь ни искалъ въ строфахъ небрежныхъ...

Что отвѣтитъ на это Пушкину его читатель, не прошлый, совре-

менный ему и часто придирчивый, а нынѣшній, читатель-потомокъ, тотъ, котораго онъ предвидѣлъ и привѣтствовалъ, кому черезъ многія десятилѣтія посылалъ свое благодаренье:

Прими жъ мое благодаренье,
Поклонникъ мирныхъ Аонидъ,
О ты, чья память сохранитъ
Мои летучія творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплетъ лавры старика! ?

Ему отвѣтитъ на это русскій читатель:

«Не благосклонной, а благоговѣйной рукою касаюсь я твоихъ лавровъ, и когда я указываю, когда я смотрю на твой прославленный портретъ, на твою задумчивую статую, я чувствую къ тебѣ любовь и религіозное поклоненье, и священную благодарность вѣрующаго за тѣ откровенія, за то художественное и человѣческое счастье, которое даютъ мнѣ твои летучія, твои окрыленныя творенія. И если ты, мой поэтъ, гдѣ-нибудь слышишь меня, если, молодой въ моей душѣ, вѣчный въ искусствѣ, ты дѣйствительно гдѣ-нибудь въ міровыхъ пространствахъ живешь какъ старикъ, и если тебѣ нужно, если ты удостоиваешь это знать, то узнай, что я въ самомъ дѣлѣ, какъ ты и желалъ, сохранилъ въ моей памяти и въ моемъ сердцѣ твои стихи, и потому я не могу говорить о тебѣ не твоими словами. Прости меня, что я часто повторяю ихъ въ сочетаніи съ моею блѣдной рѣчью: мнѣ такъ сладко, въ часы духовной жажды, не только слѣдовать за тобою какъ радостно-покорное эхо твое, но и тобою оправдывать, тобою украшать себя. И моя мечта, моя молитва къ тебѣ—это, чтобы ты, мой божественный спутникъ, никогда не покидалъ меня, чтобы я до конца моей жизни умѣлъ читать тебя, умѣлъ воспринимать поэзію твоей поэзіи, слышать и славить тебя. Покуда ты со мною, до тѣхъ поръ я еще спокоенъ, до тѣхъ поръ, слѣдуя твоему великому примѣру, я могу принимать и міръ, и себя. Ибо надо только принять тебя,—остальное приложится»...

Того же автора:

СИЛУЭТЫ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.

Выпускъ I: Батюшковъ, Крыловъ, Грибоѣдовъ, Рылѣевъ, Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Баратынскій, Тютчевъ, С. Аксаковъ, Огаревъ, Гончаровъ, Плещеевъ, Помяловскій, Глѣбъ Успенскій, Гаршинъ, Короленко, Чеховъ.

Изданіе *второе*, исправленное и значительно дополненное. Съ 18-ью фототипіями. М. 1908 г. Цѣна 2 р. 10 к.

Выпускъ II: Кольцовъ, Некрасовъ, Майковъ, Щербина, Фетъ, Полонскій, Алексѣй Толстой, Достоевскій, Левъ Толстой, Тургеневъ, Островскій, Слѣпцовъ. *Приложеніе:* Дѣти у Чехова. Съ 12-ью фототипіями. М. 1908 г. Цѣна 1 р. 25 к.

Изданіе „Научнаго Слова".

Изданія „Научнаго Слова".

И. И. Мечниковъ. Этюды о природѣ человѣка. 3-ье дополненное изд. съ портр. автора и рисунками въ текстѣ. Цѣна 2 р.

И. И. Мечниковъ. Этюды оптимизма. Цѣна 2 руб.

Н. В. Сперанскій. Вѣдьмы и вѣдовство. Цѣна 1 руб. 40 коп.

М. М. Покровскій. Очеркъ по сравнительной исторіи литературы (романъ Дидоны и Энея и его римскіе подражатели). Цѣна 60 коп.

Г. К. Рахмановъ. Основы метеорологіи. Съ климатологическими картами. Изд. 2-ое. Цѣна 1 руб.

Д. М. Петрушевскій. Очерки изъ исторіи средневѣковаго общества и государства. Изд. 2-ое. Цѣна 1 руб. 70 коп.

И. М. Сѣченовъ. Автобіографическія записки. Съ предисловіемъ **проф. Н. А. Умова** и портр. авт. Цѣна 1 руб. 30 коп.

Комплектъ журнала „Научное Слово" сохранился только за 1905 г. Цѣна 4 р. 50 к. Отдѣльные №№ за другіе годы изданія продаются по 35 коп. каждый.

Книгопродавцамъ обычная скидка. Учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ при покупкѣ у издателя пользуются скидкой 20%; при коллективной выпискѣ имѣютъ ту же скидку, при чемъ стоимость пересылки начисляется.

Складъ всѣхъ книгъ и нумеровъ журнала у издателя: Москва, Нѣмецкая улица, соб. домъ, Георгій Карповичъ Рахмановъ.

мк/71-2011

75 —
1110чк/10 ун

Тип. Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Москва.

Цѣна 80 к.

A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

DUE JAN 28 H
4/4/10007

FEB 28 1978

CANCELLED
CHARGE

CANCELLED
OCT 17 1983
1719498